

Праматеръ

БОРИС ХАЗАНОВ

БОРИС ХАЗАНОВ

Праматеръ



В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарриота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература

Письма из прекрасного далёка.

В садах за огненной рекой.

Тревога и труд.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ПРАМАТЕРЬ

Избранные повести

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
X 152

Хазанов Б.

X 152 Праматерь. Избранные повести. – СПб.: Алетейя, 2016. – 336 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-906823-19-9

Традиционное русское слово «повесть» как обозначение промежуточного прозаического жанра не вполне соответствует англосаксонскому термину *long short story* и не совпадает с французским представлением о малоформатном романе. Наконец, немецкое *Erzaehlung* обнимает все жанры повествовательной прозы. Так мы возвращаемся к русской повести.

Новая книга Бориса Хазанова представляет собой собрание повестей, действие которых происходит в разных уголках мира. Некоторые из них задуманы в России, большинство написано в Германии и в поездках по Западной Европе и США.

Книга рассчитана на интересующихся современной русской художественной литературой.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906823-19-9



© Б. Хазанов, 2016

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

Светлояр

Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, проследовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, сел на своё ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по коридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колпаком, что-то несло меня, я не шёл, я летел — тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего представления, куда я направляюсь, — знаю только, что надо спешить, у меня мало времени. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящаяся поле с едва различимой кромкой леса на горизонте. Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съехал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, подумал, не войти ли мне тоже в воду, — я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка.

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глупость, я недосытаем. Да, почти со злорадством я подумал о том, что они до меня уже не доберутся, это мой последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, что я — это тот, кто лежит на высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный экспонат; меня зовут — я не слышу, колют иглой — я не шевельнусь, сердце сокращается, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с моим телом что хотят, они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешительности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит пальчиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я *над* моим померкшим сознанием; я — всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он — не я, меня

нет, и никогда им этого не понять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда ярко-тусклые фонари. Народ съезжает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варежки. А я бегу к середине пруда, там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытаскивает меня из воды.

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за испачканные варежки; музыка провожала нас, мы брели домой с Чистопрудного бульвара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и домработница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает в ботиках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей водой, и тотчас наступает утро.

Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».

Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намёками, но надо спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой двоюродный брат по имени Натка покачивался на доске, хозяйская дочка, в пёстром платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит не на меня.

«А я видел».

Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я видел.

Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покачнулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих глаз, ямку между ключицами, буторки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва успевшие округлиться. Врёшь, сказала она, кто это купается ночью. Ты, сказал я, мне хотелось её подразнить, теперь я знаю, какая ты.

Какая, спросила она надменно.

Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном конце, я на другом, Соня сидела посредине, верхом, мы по очереди приседали и отталкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней раскачивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархивало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносился ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я прыгнул следом.

«Ты куда?» — лениво, сонным голосом спросил Ната.

Меня несло куда-то через луг.

«Эй, ты!»

Голос донёсся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обреш, что годы не имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кустарника, прокрался по коридору. Только что оттремел вдали ночной десятичасовой поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне своей мнимостью. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный врач приподнял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, — но нет, они хотят продлить мне жизнь, а что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать и короткий ответ. Я понимаю — или догадываюсь, — вопрос о смысле моего существования есть одновременно вопрос, где оно, что оно такое — моё существование. В каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за собственным двойником, за призраком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, сбрасываешь тряпье. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. *Ты сам становишься истиной.* Ты, от которого уже ничего не осталось.

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет солнечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впереди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышный звук рождается в тишине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило потерять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на площадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладонью, голоногая и загорелая в своём пёстром платьице, когда я сказал с замиранием сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: а я тебя видел! — то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, чтобы увлечь за собой в воду случайного соглядатая, замкнулся, как створки раковины, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без одежды, я ничего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и презрительная гримаска на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять (или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, танцует, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лунно-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тянуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только я вспомнил, что пора возвращаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом деле, когда, подбежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медленно наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожурки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» — спросила она.

Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвердилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с качелей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом пошли с тобой в лес, возразил я, а перед этим качались втроем на качелях. Он как-то легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова вверх, и следом за нами проваливались и взлетали деревья, взлетало Сонино платье, и её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижными. И особенным шиком, особым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, когда ты долетал до уровня перекладины, знать, и подумать молниеносно, что будет, если пальцы вдруг разожмутся. Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не сказала ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор.

«Надеюсь, ты не станешь отрицать», — сказал он, специально выбирая взрослые выражения, — надеюсь, не станешь отрицать».

«А в чём дело-то?» — спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.

Он сказал: «Мне всё известно».

У меня заколотилось сердце, и я спросил: что известно?

«Всё», — отвечал он.

Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.

«Что это ты там говорил, что ты её видел, — где ты её видел?» — небрежно спросил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё.

Он поднял голову к верхушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: сегодня?

«Я бы вызвал тебя на дуэль», — продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбежал со ступенек террасы. У него было преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, что именно я видел, я почувствовал, что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», — сказал я.

«Жалко».

Я не понял.

«Убивать тебя жалко, — сказал он. — Впрочем, — и это тоже было особое, никогда не употреблявшееся слово, — впрочем, ты ведь всё это выдумал».

«Что выдумал?» — спросил я, сбитый с толку.

«Что она купалась ночью, всю эту чепуху. Ведь на самом-то деле, — добавил он, — ты там».

«Где — там?»

«В реанимации, где же ещё».

«Ну и что», — сказал я растерянно. Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались через кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у берега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть. «Мне её переплыть, раз плюнуть», — сказал Натан.

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, который отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мягкую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так как же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, что как? — спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду».

«Что — имей в виду?»

Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой купалась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с исцарапанными ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется невероятной, несуществующей наутро, — но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, — проговорил Натан, — что она мне... — и тут он употребил грубое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по темени. — Она мне *дала!*»

Я остолбенел.

«Когда?»

«Тебя ещё не было».

«Врёшь», — сказал я.

«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, — он сложил колечком два пальца и всадил туда палец другой руки. — Это чтоб ты знал».

Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож из ствола, отступил на пять шагов и тоже метнул, нож ударился о ствол и отлетел в сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде, кто-то выбежал навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убегает!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, оказалось, что началась война.

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Соню; только что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостья; сестра стояла за её спиной. Сестра что-то объясняла укоризненным шепотом, по-видимому, хотела сказать, что это не время для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функциональной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до неузнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. По-моему, он умер, сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что женщина, стоявшая перед мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.

Она улыбнулась. «Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, — сказала она. — Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то позвонил с улицы, и ты побежал отворять».

«Нет, — растерянно пролепетал я, — то есть да... То есть как это не помню. Мы жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».

Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»

Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой коммунальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в постели. А я сидел на полу. Вокруг меня высились вещи. В этой комнате, которая казалась мне очень большой,

я был как в целом мире. Я в ущелье письменного стола, между тумбами. Я в убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по углам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез и побежал отворять.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парадная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбежала в коридор, босиком, в рубашке, задыхаясь, схватила меня за руку и захлопнула парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» — спросил я.

«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вставать».

«Ничего, ничего...»

«Тебе надо в постель».

«Нет, — сказала она, улыбнулась и покачала головой, — не хочу больше».

«Ты выздоровела?»

«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, — добавила она, — ты действительно не помнишь».

«Ты, — пробормотал я, — ты... в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это ужасно смешно».

«Смешно, но так принято».

«А что там написано?»

«Не знаю. Какое это имеет значение?»

Я согласился с ней, что это не так важно.

«Оставим это, — сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались. — Я к тебе ненадолго».

Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, — хоть я и понимал, что это чистая фантазия, — что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка были завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевелилась, молча и безразлично лежала на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»

«И что же?» — спросил я со страхом.

«Ты изменился».

И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами — пожал бы, если б мог.

«Из тебя ничего не вышло».

«То есть как».

«Не знаю. Не вышло, вот и всё».

Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я понял, что это и была цель её прихода — уколоть меня напоследок, сделать мне больно.

Она сказала:

«Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной женщиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консерваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я так и не оправилась после родов. Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...»

«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в чём дело».

Чуть какая-то, бормотал я, что это значит — не был самим собой. А кем же?

Сестра вмешалась:

«Не надо его волновать».

Я сказал:

«Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».

«Опомнись, — проговорила она мягко, — я и не думала. Дурачок. Ведь меня нет!»

И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не хочешь меня поцеловать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, он... сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя.

«Я случайно узнала», — сказала она.

Мои губы зашевелились, что́, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнувшись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.

«Дня на три», — добавила она, выпрямляясь.

Значит, подумал я — или сказал, — ты сможешь побывать на моих похоронах.

«Ты поправишься», — сказала она.

Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выглядывало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, которая только что стояла возле качелей, заслонясь ладонью от солнца, и всё же это была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад:

«Твой муж теперь, наверное, уже полковник».

Ответа не было. Не надо было об этом говорить.

«А помнишь, — спросил я, — как я тебя увидел, ты купалась ночью».

«Купалась, когда?»

«Voici la nudité, le reste est vêtement»¹.

Что это, спросила она. Я сказал:

«Это такие стихи».

Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала — он бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, о чём ты, бормотала она, как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле меня, она, та самая Соня. И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал:

«Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»

Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелось узнать, правда ли, что у них *было*.

Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для меня... пожалуйста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понимают... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут.

¹ Вот нагота, а прочее — одежда (фр.; Ш. Пеги).

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно было всё-таки знать. Скажи правду, сказал я.

«Боже мой, — устало проговорила она и провела рукой по волосам, — какая тебе ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» — спросил я.

«Волосы? — Она усмехнулась. — Ты это и хотел узнать?»

«Это правда, что у вас тогда с Наткой?..»

Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой.

«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень болен. Позвать сестру?»

Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова.

Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам надо было так много сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых прудах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд.

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, — что-то знакомое, сонно-туповатое было в Сонином лице, — и все покачивала головой. Дверь открылась, вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмеялся.

«Лёгко на помине!» — сказал я.

«Кто это?» — спросила Соня.

Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор». Он был худ и острижен под ноль.

«Вот видишь, — сказал я, когда она вышла, — она тебя не узнала. Она тебя не помнит».

«А что она вообще помнит!»

«Я как раз собирался спросить у неё...»

«Чего спрашивать, — сказал он презрительно, — конечно, было».

«Но она ничего такого не помнит!»

«Не хочет говорить, вот и всё».

Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки... как это произошло? Ведь мы оба едва успели свести с ней знакомство.

Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.

«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты поверил? Мальчишеское бахвальство. Но признайся: ты ведь тоже придумал, будто видел её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необыкновенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»

«Опять, — сказал он досадливо. — Меня уже спрашивали.»

«Кто спрашивал?»

«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Сумел таки увильнуть!»

Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы призвали. Натка поглядел через плечо.

«Покурить охота. А?»

«Валяй, никто не видит.»

Он извлёк кисет и зажигалку из болтающейся штанины.

«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. — Дежурная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. — Да чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», — сказал я.

«Торопись. К нам никогда не поздно.»

«Значит, ты...»

«Так точно. — Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем костыль. — Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»

На что я холодно возразил:

«Отставить. Без пилотки честь не отдают.»

«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» — пробормотал он.

Я спросил:

«Ты хочешь сказать — убить?»

«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, конечно, сразу отдать концы, это во-первых.»

Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.

«Громче! — простонал я. — Ничего не слышу.»

Гром, свист.

«Я говорю, первая возможность! — орал Натан. — Мы уже в Кюстрине, до Берлина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Катюши, гранатомёты, дальнобойные орудия — триста стволов на каждый километр. Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу.»

«Тебя убили?»

«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».

Я хотел спросить, какой мясник.

«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, — он махнул рукой, — что вспоминать. Думал после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и — за р-родину, за Сталина, с ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.

«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах вода по брюхо, снег только успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.

«Где это было?» — спросил я.

«Я же говорю — зеловские высоты. Зёлов, есть такой. За Кюстрином километров двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».

Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дожидаться и уйти. Ещё немного, встану и пойду её искать.

«...подорвался на mine или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. Часа три промучался, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, потом всё теплее, теплее, и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, — сказал я. — Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, наверно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рассказывала, похорошки тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали таки... Ампутация бедра в верхней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе вторая возможность. А кстати, — спросил Натан, — не знаешь, долго это ещё продолжалось?»

«Война? Но ты же...»

«Откуда мне знать, — сказал он. — А в общем-то мне всё равно!»

Я почувствовал, что вязну в какой-то пуганице. На всякий случай я спросил: а когда, собственно, это случилось?

Человек в шинели крикнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные костыли, и подхватил с пола раздавленный окурок.

«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. Хотя — зачем они мне? Всё дело в том... — бормотал он, разглядывая окурок, извлёк кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, — всё дело, говорю, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые возможности».

«Да, но вероятность бывает разная».

«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбудется, а невероятностей не бывает. Вот ты со мной споришь, а сам думаешь: встану и отправлюсь на поиски. Это, конечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь тоже пора».

Сейчас потушат свет, сказал я, только что прошёл десятичасовой поезд.

«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».

Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо, «молчи, — зашептал, — никому ни слова!» — и погрозил пальцем.

«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это значит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем веке пропало без вести. Ну, до скорого!»

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную действительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, — как приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

Соня, пробормотал я, твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне ночь, когда я сидел на песке и прислушивался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встаёт перед глазами озеро... помнишь ли ты или уже забыла наши места, заболоченную тайгу?

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».

«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вставать...»

«Ради Бога... сестра увидит...»

«Не увидит. Можешь не волноваться.»

«У меня будут неприятности.»

«Ну, как хочешь», — я пожал плечами.

«Я уж собралась на вокзал, — сказала она, — что он тебе тут наговорил?»

«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»

«Меня, откуда?»

«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. Главное, мне посчастливилось его найти.»

«Кого найти?»

«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не поверила, пока сама не убедилась.»

Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы.

«Что значит потом?» Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, дорогая, барахтаешься в тенётах грамматики. Для тебя все это преодолимо... А для меня существует одно только вечное настоящее.

Я есть истина.

«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, что ты умираешь.»

«Возможно; впрочем, не совсем». Я хотел сказать, что у меня ещё остается немного времени — то есть, конечно, в том смысле, как она понимает это выражение: немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», — сказал я.

«А! вспоминаю.»

«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было.»

«Что было?»

Я показал, сложил два пальца колечком.

«И луг сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»

«Фу. Как тебе только не стыдно.»

«Но он бегал за тобой.»

«Что значит бегал?»

«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя.»

Мало ли кто был влюблён — она пожимает плечами.

Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекладину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?

«Помню», — сказала Соня.

И сделала вид, что меня не узнала?

«Как я могла узнать, через столько лет...»

«Не так уж много».

«Да, но...»

«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня узнать...»

«Это судьба».

Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протрубив половину, можно было надеяться, что меня расконвоируют. У большинства двадцать пять лет, бывшие военнопленные, изменники родины, попади, например, в плен мой двоюродный брат Натан. Он бы из немецкого лагеря загремел в наш лагерь. Если бы остался жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул до конца войны, он бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще, Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. Меня не успели убить на войне. В лагере у меня был маленький срок — по сравнению с большинством. На каждом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, — хозвозчики, пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь.

Развод кончился, оркестр — у нас был оркестр из заключённых — умолк, бригады потопали в оцепление, бесконвойные ждут перед вахтой, рыл десять от силы на весь лагпункт, я же говорю, у большинства — четвертной.

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и выходишь — свободный человек! За спиной у тебя ворота с флажками и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с проволокой, запретная полоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, сверху наклонённые внутрь ряды колючей проволоки, лампочки наружного освещения, и над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, — иди, никто не остановит, куда хочешь — с той лишь оговоркой, что не захочешь. И, однако же, побывав на разных должностях, и возчиком, и в бане для вольняшек, и ночным древоколом на электростанции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухитрялся ночью ходить за сколько-то километров в деревню, там у меня была одна...

«Это ещё кто?»

«Так... одна».

«Ты мне об этом не рассказывал».

«На подсочке работала».

«Что это?»

«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собирали смолу».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Рассказывай дальше».

«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».

«Но это было...»

«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».

«Не надо так».

«Удельный князь с дружиной».

«И вообще не надо об этом».

«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух — По-еж — Лапшанга, когда это было?»

«Не помню. Не хочу вспоминать».

«Надо же было встретиться».

«Это была судьба».

Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.

«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а что, собственно, означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и лагерь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»

«Где он тебя подцепил, можно спросить?»

«Наш дом в войну сгорел».

«Дача?»

«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступали, подожгли».

«И качели сгорели?»

«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»

«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в командировке. Потом стали встречаться».

«Он тебе сказал, что он в этой системе?»

«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы расписались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о неразглашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. Извини», — сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной доске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомстить мне за то, что я увидел её ночью, хватался своим умением метать нож и сказал, что мог бы вызвать меня на дуэль.

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.

«Что я тебя узнала?»

Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до обрыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обретёшь истину. Развод кончился, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блестело сквозь пелену облаков, когда татары добрались до Китежа и ничего не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, соединённых цепями, с колями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рельсам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам.

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Са-турне, где год равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в изжёванном картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего лишнего, буханки, ещё тёплые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул дверцы и пошёл открывать створы ворот. И солдат-азербайджанец пел тягучую песню на вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. Выеха-

ли и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угловую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это утро, спросил я.

Ещё бы не помнить.

Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчинный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал наружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперуполномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. Вот бы цапнуть за эту грудь, что бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоблях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высматривала кого-то, засясь ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и теперь ты смотрела из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, к своему барaku, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»

«Ты уже спрашивал».

«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда говорил, что у него с тобой было?.. Ага, — вскричал я, — значит, ты всё помнишь. И озеро помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, — сказала Соня и оглянулась на дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые знаки. — Сейчас... две минуты», — пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» — спросила она или вообще кто-то.

Я вздохнул, лучше сказать — перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил возжи на спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на землю. Я ждал окрика — жирный голос

жены оперуполномоченного раздался. Я дорожил своим местом. Зимой, в лютый мороз, когда двухметровые берёзовые плахи колются, как орехи, я работал ночным дровоколом на электростанции, там со мной кое-что случилось, я провалялся сколько-то времени на больничном лагпункте Керженец, а вернувшись, был признан негодным, на электростанции вкалывал другой. Я качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе в сто первом квартале, от лагпункта километров десять; сплошь болото, идти можно только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне иногда давал что-нибудь.

«Можешь мне не рассказывать».

А я ему за это — с риском, само собой, — проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, устроена по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жизни, я знал людей, которые боялись конца срока, с тревогой ждали освобождения. Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика не последовало, не было больше жены уполномоченного, на крыльце магазина стояла ты. Что это за шум, спросил я.

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».

А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешает говорить. В общем, будем считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случайность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».

«Но судьба — это и есть истина, ты как считаешь?..»

Загремел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, в лагере вообще было много изобретений, лагерь сам — гениальное изобретение. Не надо каждый раз выходить и проверять, кто идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин работает до восьми, а время — начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет рукой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велют, то и делаем. Щит из сколоченных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подходит, опоздавшая покупательница или кто

там, сейчас заметит, что железная перекладина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода постепенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окуталась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» — проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но сестра, на наше счастье, исчезла.

«Ангел смерти», — усмехнувшись, сказал я.

«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы я первая».

«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».

«Перестань... почему ты называешь его князем?»

«Потому что я смерд».

«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»

«Потому что я тебя люблю».

«Этого не может быть. С тех самых пор?»

«Здесь темно, но я тебя вижу».

«Что ты видишь?»

«Я вижу тебя всю. Ты такая же».

«Если бы ты вошёл в воду...»

«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».

«Если бы ты меня подождал».

«У меня оставалось мало времени».

«Теперь мы будем вместе».

«А как же твой муж?»

«Никак, — сказала она. — Муж одно, а ты другое».

«Муж — это муж», — сказал я.

«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».

«А до тех пор?»

«А до тех пор так и будет».

«Ты часто с ним спишь?»

«Иногда».

«Ты его любишь до сих пор?»

«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».

«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»

«Чувствую. Я же не колода».

«Тебе бывает приятно?»

«Иногда приятно»

«Он пьёт?»

«Все пьют. Ну и что?»

«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».

«Почему это?»

«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его продлят автоматически. Или в ссылку».

«Куда?»

«Почём я знаю. Далеко».

«Я к тебе приеду».

«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».

«Зато будем вместе».

Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? — прошелестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы устроили там ложе из ящиков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы стояли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после той истории повышение откладывали несколько раз. Нас перевели на другой лагпункт. А потом он и вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть — вернётся. Всё равно, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан обходит свои владения. Лазают по баракам, как это называлось, — после развода, после того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. Дневальный с шваброй, навтыжку. А это кто там? На верхних нарах в углу. Это я, Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать — те же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты принадлежала мне. Ночной сторож, отвечает помпобыт. Почему не в секции для бесконвойных? Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комендантского лагпункта ехать в теплушке полсуток. Когда затеялось дело — когда всё это открылось, меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отравили на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел

в изоляторе у нас на лагпункте, пока опер (кум) трудился над оформлением дела, для него это была находка, он давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. Это только так называется — теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорожных усов, полусгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добрались. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как тот, кто склонился над своим отражением в воде.

«Однако ордынцы его нашли, — сказал я. — Надо уметь искать».

Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубь и тьму, хлюпая в болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, тайно продирался через подлесок. И вдруг увидали просвет, голубое небо, и вот оно, серебряное, лазоревое, недвижимое — чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала:

«Это всё Ферапонтиха».

«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Ферапонтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем открывать».

«Да. Мы не будем открывать».

«Пускай ломают дверь».

«Пускай. Тебе надо одеться».

«Они ушли».

«Пошли за ломом».

«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я сейчас открою».

«А ты?»

«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет».

«Бесполезно. Они же видели — сторожка пуста».

«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувствовала. Представляешь себе, что будет. Заключённый, с женой начальника, ночью. Что они с тобой сделают?»

«Ничего».

«Что они с тобой сделают!»

«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, я свободен».

«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».

«Соня, — проговорил я. — Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустынное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы обойдём трясины. Там такой густой ельник, что в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услышим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разыщет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто нас больше не увидит. Пусть хоть целый взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оцепят всё княжество. Пускай объявят всесоюзный розыск, нам-то что. Мы пропадём без вести! Уйдём за тридевять земель от этой Феррапонтихи, и от кума, и от князя, и от вышек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём прочь, они продерутся сквозь чащу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как псы, — а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, — сказала она. — По-моему, он умер».

Запах звёзд

Поезд, идущий на северо-восток, замедлил ход, приближаясь к полустанку, а через минуту уже мелькал в остекленевших глазах вышедшего дежурного и гремел на переезде мимо стрелочницы, которая стояла, выставив перед животом скатанный грязно-желтый флажок. Оба, каждый со своего поста, глядели вслед уменьшающимся красным огням, гложнувшим в белой мгле. Здесь, на полустанке, их разделяла служебная дистанция, не менее реальная, чем расстояние между сторожкой возле шлагбаума, поднимавшегося раз пять-шесть в году, не чаще, и «вокзалом», где дежурный пил чай и слушал унылый стук ходиков; а для мелькнувшего мимо поезда это было все равно что расстояние в несколько миллиметров, и люди на полустанке были для него мгновенными ничтожными мелочами, которые машинист едва успел заметить, словно жикнувших перед глазами мух. Даже на больших станциях поезд, идущий на северо-восток, не задерживался, не стоял ни минуты, а постукивал равномерно на стыках в отдалении от перрона, мелькал там, сзади, в просветах между вагонами застрявших товарняков, и вот уже гудок его, протяжный и затихающий, тускнел вдали, и дым расходился в небе; он шел подряд несколько суток, днем и ночью, и с тех пор, как начал свой путь, останавливался, кажется, только один раз, чтобы пополнить убывающие запасы угля и воды. И на разъездах поезд не стоял, не ждал, а шел и шел вперед. Сперва ехали через пустынные поля, словно плыли по широкой снежной реке, разлившейся до самого горизонта, и казалось, что поезд вовсе не движется, а стоит на месте, грохоча колесами; кромка леса на дальнем берегу тянулась, стояла перед глазами с рассвета и дотемна; но потом она стала расти, приближаться. Присмотревшись, можно было различить бегущие деревья, стук колес как будто усилился; хоровод деревьев, сцепившись ветвями, побежал назад, в обратную сторону, а позади него другой хоровод понесся вперед наперегонки с поездом. Он шел, загибаясь по узкой насыпи, и с обеих сторон стоял густой лес.

То был поистине целый мир — особенный, чудотворный: каким восторгом, какой нежностью могла бы наполниться душа при виде сих монашеских елей, толпой сходящих к оврагам, и золотистых сосен на пригорках по колено в снегу; дым клубами окутывал их, но, когда он

рассеялся, сосны стояли такие же, как прежде, — строгие, радостные, качая верхушками, и времени, казалось, вовсе для них не существовало: и татарская власть, и раскольники, и французы — все было для них одновременно, или, лучше сказать, никогда не было. В ясную погоду снег на опушке блестел так, что глазам было больно, и все-таки тянуло глядеть на него, и хотелось схватить его в охапку, зарыться в него лицом — такой он был свежий и чистый и дышал какой-то древней юностью. Тени сосен в ясный день были голубые и легкие, а к вечеру тяжелели и становились лиловыми; пунктиром пересекали их синие крестики чьих-то следов. В пасмурную же погоду небо над соснами было мутно-молочным, все кругом казалось теснее и ближе, и расплывчатей, и снег был не голубого, а белого цвета, как белье, которое забыли подсинить. В сумерках белое небо опускалось на снег, и сиреневая мгла все разбалтывала в сплошную кашу. Но понемногу мутная темень рассеивалась, ночь стекленела, становилась прозрачной, как будто протирали запотевшие черные окна, мороз крепчал, зеленоватое сияние поднималось над снегами. Вдруг из чащи раздавался крик птицы, не злой, не зловещий, просто от избытка сил, наливающихся во сне, снег сыпался неслышно с веток, что-то происходило, завершалось, кристалл ночи становился чище, ярче, совершеннее, высоко в пустом небе горели, переливаясь, звезды. Утром из пелены далеких туч, сопя и тараща заспанные глаза, выбиралось косматое солнце, и винно-розовая заря бежала по рельсам, а с другого конца, на темном, аспидно-сером западе, появлялся в разрубе тайги белый дымок, дальний гудок возникал как бы из небытия. Поезд мчался мимо всех лесных событий, ему не было до них никакого дела.

Поезд шел вперед; рельсы, как предначертания судьбы, указывали ему единственный путь — на северо-восток. Города, грязные станции, деревни — все осталось позади. За пустынными равнинами открывались другие, еще шире и пустынные, за лесами начинались другие леса, гуще прежних. Огромная это была страна, огромная и прекрасная, несмотря на кажущуюся свою несуразность. И мнилось, не будет ей конца. Но мало-помалу, незаметно и неощутимо поезд, который сначала полз по белой равнине, как сороконожка по скатерти, а потом юркнул в тайгу, унося за собой белый дымок, приблизился к иным меридианам и в конце концов оказался совсем в другой стране. Он вполз в нее, и никто этого не заметил, да и не ждал, когда появится пограничный столб: не было никаких столбов, эта страна была совершенно такая же, как и та, оставшаяся, так что нельзя было понять, где она, собственно, начинается; разве случайно можно было наткнуться на нее, как на дредноут в игре «морской бой», ибо она была невидима; и все-таки это была совсем другая, особая и непохожая на нашу страна.

Поезд шел в страну, о которой, конечно, все знали, что она существует. Знали, но делали вид, что не подозревают о ней. Молчаливый заговор окружил тайной все, что имело отношение к этой стране, и не требовалось даже специальными постановлениями запрещать упоминать о ней. Ее не было — и точка. Поезд шел в страну, куда никогда и ни за какие деньги не продавали билетов, которая не была нанесена на карты, не упоминалась в справочниках и которую не проходили по географии в школе. Да и вряд ли кому-нибудь захотелось бы повидать ее по своей воле, а уж если кому было суждено туда ехать, тот назад из этой страны не возвращался, как не возвращаются никогда из Страны мертвых. И о ней старались не думать, забыть, как стараются не думать о кладбище, где лежит столько народа.

Всякий намек на нее был нестерпим, и мысль об этой стране леденила ужасом; появившись неведомо откуда, была под коленки и хватала за горло, и тогда каждый был согласен сделать все, что ни потребуют, отдать добро, предать друзей, отречься от близких, лишь бы отвели от него этот перст. И все же догадывались, что живет там не горстка людей, не сотни и не тысячи, и даже не сто тысяч, а так много, что страшно было представить — все равно что собрать разом всех умерших хотя бы только за десять лет. Но если мертвых покойников помнят или по крайней мере делают вид, что помнят, то этих никто не вспоминал, самая память о них представлялась как бы заразной: их забывали молниеносно, выскабливали из памяти их имена в ту самую минуту, когда эти люди исчезали, а если кто и помнил, то притворялся, будто забыл. И если бы вдруг случилось землетрясение или океанская волна внезапно поглотила нашу Атлантиду, то историки, собирая реликты некоего пропавшего народа, не узнали бы, что внутри древнего захлебнувшегося государства существовало еще одно, секретное.

Никто в точности не знал, что именно происходит в стране на северо-востоке. Никому не известно было, какая там погода, идет ли дождь, светит ли солнце и сколько там дней в году, да и считают ли там годы — никто не знал. Поезд особого назначения, следующий по секретному маршруту, шел, торопился из страны живых туда, минуя разъезды и пункты контроля, оставляя позади города, станции, проносьясь с грохотом мимо безлюдных полустанков и закрытых шлагбаумов. Поезд шел вперед, и белый дым, отдуваемый ветром, стлался за ним и бесследно таял в холодном небе.

И только одно становилось мало-помалу понятным для того, кто еще осмеливался размышлять о тайной стране и ее обитателях: что труд, который был объявлен делом чести и доблести и который называли почетным долгом те, кто им никогда не занимался, труд, о кото-

ром рассказывали басни, будто он облагораживает человека, есть в действительности то, чем он и был всегда, — проклятье, которое подстерегает каждого, словно дурная болезнь. Что вся сложная система правосудия есть на самом деле машина для насильственного комплектования рабочей силы; что, одним словом, всегда нужен кто-то, кто вскакивал бы в пять часов утра и топал в лес в мороз и дождь и спиливал бы огромные деревья, обрубал сучья, кряжевал хлысты, наваливал, вез, тонул в снегу или в болоте, дубиной и криками подгонял выбившуюся из сил лошадь, сваливал, укатывал, воздвигал штабеля, грузил лесом составы или гнил бы заживо в шахтах, в котлованах, в подземных заводах, на урановых рудниках и мало ли еще где. Всегда нужно, чтобы кто-нибудь рыл землю, возил тачки, толкал вагонетки, своими ногтями выкапывал каналы и на своих костях прокладывал бы железные дороги; и если этого не делаешь ты, то, значит, за тебя должен делать другой, и выходит, что любое другое занятие, кроме «грубого физического труда», — попросту хитромудрая уловка, увиливание, дезертирство.

Не так уж много требовалось ума, чтобы понять это; а непонятных учила жизнь. Потому что главный урок, который она преподносила, да так наглядно, словно конфетку на ладони, главный урок и наука — скажем это, забегаая вперед, — была наука неверия, не какого-то отдельного неверия, а неверия вообще, и в ней-то и заключалась причина таинственности, которою была окружена жизнь в стране на северо-востоке: ибо, освобождая людей от бремени имущества, притащенного в мешках, деревянных сундучках или чемоданах, от теплых шинелей со споротыми погонами, от фасонистых городских пальто, уже подпорченных в тюремной дезкамере, от валенок, еще пахнущих домом и волей, от вязаных носков, последних в жизни, потому что скоро и самое слово это забывалось, исчезало из лексикона, как исчезали, став ненужными, сотни других слов, — короче, от всех шмоток и всего вообще, что у них еще оставалось и что частью выманивали у них обманом, частью отнимали силой, а чаще просто уворовывали и потом без конца проигрывали и выигрывали в карты, — освобождая от всего своего, кроме собственной многострадальной шкуры, своего тощего потроха, да еще казенной телогрейки, да трухлявых штанов, жизнь в лагере освобождала и еще от кое-чего, именно от веры, от веры, которая отныне становилась синонимом глупости. Урок жизни, начатый предательством друзей, соседей, однополчан, — кого угодно, но только без предательства тут не обходилось, — и продолжающийся в таежных лесах страны, о коей речь, в ее синих снегах, так что из приготовительного класса переходишь мало-помалу в старший класс, а оттуда в университет, все длился и длился. И этот урок отменял все заученное прежде,

в других школах и университетах, и все дипломы, полученные там, становились ни к чему, словно листки от календаря давно прошедшего года, словно облигации безвыигрышного займа, освобождал от всего бесполезного и лишнего. Лишней оказывалась вера.

Оказалось — и это было то, что роднило всех, к каким бы нациям, классам, поколениям они ни принадлежали раньше, до того, как они провалились в люк на глазах у перепуганных родственников и остолбеневших соседей, подняв облако пыли и словно превратившись в эту пыль, — то, что теперь объединяло и роднило их и слило их всех в одну нацию и одно поколение, поколение одураченных, вернее, одурачивших самих себя, — оказалось, что все, что им твердили с детства и что они заучивали чуть ли не с пеленок, повторяли сначала по буквам, потом целыми фразами, а потом уже чесали наизусть целые страницы, — все было ложью и чепухой от начала и до конца, фантомом, липой, мыльным пузырем, и, догадавшись, что их разыграли, они стояли теперь, скребя в затылках и недоумевая, куда же подевался хрустальный дворец, выстроенный джинном за одну ночь. Религии у них тоже не было, потому что Бога отобрали у них еще раньше, уверив, что Бог выдуман помогать поработителям обирать и обманывать народ, но оказалось, что без Бога так же тошно, как и с Ним. Поработители исчезли, а порабощенные остались, и, пробудившись от веры, как от смутного сна, мучительно зевая и озираясь и стыдясь глядеть друг другу в глаза, они поняли мало-помалу, что никакого джинна не было, да и ничего вообще не было, и что все они — безмянное потерянное стадо, плетущееся неведомо куда.

Ночью поезд остановился. Те, кто были в нем, могли догадаться, что снаружи ночь, по щелям задраенных люков, откуда только что к ним сочилось смутное белесое небо, а теперь вагон словно накрыли попоной. Четвертые сутки они слушали ритмичный грохот под полом, похожий на тиканье башенных часов, если бы их поднесли к самому уху; четвертые сутки — а может, и десятые, никто не знал — пол катился под ними куда-то под гору, и бледный свет трижды сочился из щелей, и вот поезд снова въехал в ночь и так и остался в ночи. Они услышали протяжный гудок, железные часы под полом пошли медленнее, раздался скрежет — они качнулись, но пол под ними все катился; вдруг опять они пошатнулись, что-то взвизгнуло и стихло. Внутри них нарастал, становился осязаемым напряженный до предела звон. Они стояли, насторожив уши, широко раскрыв глаза, ничего не видя, и ждали, когда поезд снова тронется, но он не трогался и не давал предупредительного гудка. Далеко впереди — или позади? — слышалось пыхтение паровоза: пху, пху, пху; потом шипенье пара: чш-ш-ш... ч-ч-ч-ч! — как

вдруг они заметили, что пыхтящий звук стал удаляться, а вагон отцепился, остался в кромешной тьме; они часто дышали, и ничего больше не было слышно, кроме этого дыхания. Вдруг чьи-то шаги прошли совсем рядом, внизу, скрипя по снегу, и ушли, и снова стало тихо.

Прошло, как им казалось, несколько часов, прежде чем скрип ваенок снова приблизился, стали слышны голоса, сиплый мат, кого-то звали, кто-то кашлял и сплевывал. Между тем глаза их, вращаясь в потемках, как потухшие прожекторы, начали прозревать, в щелках задраенных люков забрезжил свет, какая-то мечта о свете, но не свет неба, ведь до утра было далеко, а скорее, желтоватый, мерцающий, как свеча, и они начали успокаиваться, тревога их улеглась: за стеной были люди, про них не забыли и, по-видимому, не собирались тушить огонь и уходить. Что-то тупо и тяжело ткнулось в стену там, где — они помнили — была дверь, и они слышали шаги, взошедшие на помост; замок заскрежетал совсем рядом, под ухом. И они поняли, что их сейчас выпустят, и, волнуясь, стали толкаться и переминаться с ноги на ногу.

Там, снаружи, человек в ушанке, в ватной стеганой телогрейке и валенках, поставив у ног фонарь, вынимал из кольца огромный замок, опускал тяжелую перекладину. Внизу ждали остальные, их было человек пять. Густой лес по обе стороны полотна, темное небо; впереди мертво светятся огоньки водокачки; сцепщик идет не торопясь вдоль поезда, мелькает за колесами его фонарь; паровоз ушел к водокачке. В стылом воздухе слышался кашляющий лай собак. Что ж, и в самом деле эта новая страна ничем не отличалась на вид от той, минувшей, откуда только что прибыл поезд.

Те, внутри, запертые наглухо, напряженно ждали. Сомнений не было: это люди здесь, рядом; слышно их тяжелое дыхание. Сейчас их выпустят. Слышно, как переговариваются, переругиваются; шуршат валенки. «Раз-два, взяли!» Вот сейчас откроется дверь. «Е-ще... взяли!»

Дверь поддалась, поехала, визжа заржавленным роликом; люди расступились. Тотчас, не дожидаясь, когда дверь уйдет до конца, из темноты стали высовываться, обдавая паром суесящихся людей на помосте. Мешала перекладина изнутри. Вытащили ее. И, стуча копытами, теснясь и толкаясь, и скользя по обледенелому помосту, лошади — живые души, продрогшие, истомленные бесконечной дорогой и ожиданием, робкие и обрадованные, стали выбираться на морозный, пахнущий шпалами и тайгой, чужой и неприятный и все же бесконечно милый Божий свет. Люди, стоявшие внизу, торопясь, считали их.

(Впереди, в голове поезда, тоже шла напряженная работа: солдаты, подняв фонарь, пересчитывали торопливо вылезших с мешками и чемоданами людей.)

Проваливаясь в снегу всеми четырьмя ногами, храпя и вскидывая головы, лошади сгрудились у подножья насыпи, перед заснеженными мостками: должно быть, летом тут был овражек, если вообще когда-нибудь здесь бывало лето. Но и сейчас они чуяли запах ржавой воды там, глубоко на дне оврага. Сверху, с насыпи, было видно, как конюх, стоявший перед мостками, закуривал, намотав на руку недоуздок, и лошадиная морда моталась в испуге и вырывала руку с коробком; наконец он сунул спички в штаны, примерился, упираясь руками, и прыгнул, пал плашмя поперек шарахнувшейся лошади, — в эту минуту он был похож на куклу, набитую опилками, — и уселся верхом.

Старший конюх и другие стояли на насыпи.

«Все, что ли», — сказал старший. Оставалось задвинуть дверь пульмана и сбросить помост.

Впереди раздался свисток, чей-то протяжный голос донесся издалека — человек с фонарем стоял у передних вагонов и что-то кричал им. Конюх на помосте, державший наготове замок, напряг было голос, чтобы ответить; в эту минуту внутри вагона раздался стук; все обернулись.

«Мама рóдная», — пробормотал парень с замком и попятился. Недоруганный мат, как слюна, повис на его губах. Глаза всех уставились в черную пустоту вагона.

Словно увидев перед собой какое-то чудище, манекен, бутафорское чудо-юдо, соединившее разом мощь и немощь, ошарашенные, остолбеневшие, они почти со страхом смотрели на длинные, костлявые ноги в потрескавшихся копытах, которые даже не вышли, а как-то выехали из квадратной пасти пульмана, — и медленно, как только позволяли ему достоинство и остаток сил, гигантский конь сошел, как с пьедестала, величаво ступая по дощатому помосту, но у самой земли поскользнулся и, гремя копытами, едва не сел на круп.

Звук столкнувшихся буферов прокатился вдоль поезда, паровоз давал пронзительные свистки. Все лошади стояли, выстроившись гуськом и ожидая команды. В хвосте очереди, подобный белому привидению, высился диковинный конь. Старший конюх, водя пальцем, пересчитывал их всех для верности и отправился оформлять документы; он прошел мимо товарных вагонов и других, уже опустевших. Возле станции было безлюдно, но снег под фонарями был сплошь истоптан и изъеден ноздреватыми ямками от мочи. Собачий лай заглох в лесу. Итак, они прибыли.

Наконец-то! В стойле громадный конь не сразу принялся за корм — сено из брикетов, довольно приличное, не накинута с жадностью на еду, что было бы естественно при его худобе и что не замедли-

ли сделать другие, так что вся темная конюшня мгновенно наполнилась аппетитным и дружным хрупанием, а долго принохивался и при-сматривался: не видно было ни зги, люди исчезли, и сквозь прорезь под потолком к нему не проникало никакого света; он захватил губами несколько былинки и, мотнув головой, принялся неторопливо перетирать их своими плоскими, стертymi до десен зубами.

Он все еще находился во власти необычайных впечатлений дороги и переживал их, как будто зловещий поезд все еще грохотал под ним стальными колесами; и вот они остановились, умолкли, и вместе со всеми он ждал, когда откроется вагон, и выходил, скользя по обледенелому помосту, и шагал по изрытой дороге в лес, загородивший полнеба. Он шел так долго, что начал спотыкаться. Поднимая глаза, он видел впереди равнодушно покачивающиеся, как бы неживые фигуры верховых. Мигнул огонек. Замигало сразу несколько огней. Они плыли поперек дороги, огибая чашу, исчезая и появляясь. Вдруг луч, белый и слепящий, как меч с раздвоенным острием, проткнул ему глаза. Луч бил, разрезая лес, как струя брандспойта. Всадники во главе колонны, все так же качаясь, ушли с головой в слепящий свет, обрисовались в нем, позади них осветились спины идущих одна за другой лошадей. Потом процессия свернула вбок, и чудовище отпустило их, раскаленный добела глаз уставился в сторону — на кого?

Уже все вокруг было тихо, хрупание смолкло, а он все переминался с ноги на ногу, озирался и нюхал воздух, пытаясь сообразить, что там, за стеной. Запахи были необычны, противоречивы. Вступая в новую жизнь, в который раз за долгие свои годы, он волновался и от волнения не мог уснуть. Ему чудились шаги, чьи-то возгласы... Понемногу дремота стала одолевать старого коня. Он заснул, оставив заднюю ногу, смежив веки, как бы застыл в глубокой задумчивости, похожий на осыпающийся монумент из замшелого алебастра.

Он не осознал еще в полной мере, насколько ему повезло. Вся жизнь его была цепью неслыханных удач; удачей было уже то, что он доехал, добрался живой до лагерной командировки; удача ждала его и впереди, ибо ему предстояло жить, а не плавать, ободранному и разрубленному, и растворенному до полного исчезновения в корытах, в дымящемся желтом омуте, в котором повара, стоя перед раздаточной амбразурой, вращали длинными черпаками, и в этом жесте была заключена вся грация, весь восторг, вся царственная лень и царственная власть их профессии! Белому коню повезло: он стоял на земле, а не стелился паром над черными котлами, не путешествовал по кишкам и мочевым пузырям лагерных доходяг, не пролился дождем в отхожие ямы, где давно исчез безвестный одёр, чье стойло он занял, и те, дру-

гие, плоскими тенями маячившие там, где сейчас бодро хрупали сухой травкой новички, не ведая, что их ждет. Он устал, но он был жив, ему хотелось лечь, ноги так и просились подогнуть их, преклонить колени и опуститься, смерть манила его, и с каким облегчением он плюхнулся бы на пол и склонил бы к земле свою костлявую голову с глубоко запавшими, вытекшими глазами — и все-таки он стоял.

Издали донесся унылый звон от удара кувалдой по рельсу, и ночь превратилась в утро. И когда во тьме конюшни под хруст ржавых петель медленно раздвинулся створ осевших ворот, они почуяли запах звезд, которые там, в черной прозелени неба, сверкали, как ртуть, обливая окрестность мертвым сиреневым светом. Лошади всегда чувствуют, как пахнут звезды. Никто уже не спал. Впотьмах то и дело раздавались глухие удары копыт, всхрапыванье, позвякиванье цепочек; рядом с белым конем сосед спросонья истоиво чесался о перегородку, и все стойло ходило ходуном. Узкие, как щели, окошки под потолком затеплились, замерцали — это двигались по двору фонари; слышался скрип снега под ногами, кашель и первые хриплые ругательства. Люди принесли с собой желтый свет, яркий, ядовитый, от него хотелось чихать; все пришло в движение, столбы и перегородки заколебались, поехали вдоль стен, пугая стоявших в стойлах, пока, наконец, не угомонились призрачные огни, пристроившись где попало — на перевернутой тачке, на свободных крюках. Кто-то тащил лестницу, полез по лестнице на чердак, и кашель, словно больная птица, забился над головами, сквозь щели потолка посыпался мусор, потом сверху стали сбрасывать солому. Конь, похожий на иссохший памятник, не чувствовал голода, ему хотелось пить. Все же он пожевал из вежливости. Их начали выводить в проход, по одному, очевидно, не доверяя им.

На столбе против каждого стойла, как распятие, висел хомут, для каждой лошади свой, но рассчитаны они были для прежних, уже не существующих лошадей, и большинству новичков хомуты не подходили. Зевая так, что лица у них сходились складками подо лбом и из глаз выжимались слезы, конюхи стаскивали хомуты с лошадиных морд и примеряли другие, выискивая поцелее в куче старого хлама.

Очередь дошла до белого коня — каменный круп его высился за последней перегородкой. Мальчишка-конюх, с черной дырой во рту вместо передних зубов, прошмыгнув у коня под брюхом, стал отмыкать цепочку; ему пришлось для этого залезть на ясли, потому что с полу он, может, и дотянулся бы вытянутой рукой до груди, высеченной из белого камня, но до шеи нечего было и надеяться: он смотрел на нее, задрвав голову. Шмыгая носом, точно всхлипывая, Корзубый расце-

пил, наконец, цепочку. И тогда с его тусклыми, беспокойными глазами рыси впервые и как бы случайно встретились человеческие глаза коня. Встретились и разошлись.

«Н-но, падла старая, пошел!» — заорал Корзубый, и престарелый конь послушно сдвинул с места каменную громаду своего тела. Он старался соблюдать осторожность, не задавить кого-нибудь сзади, не завалить перегородку и медленно пятился, между тем как тщедушный хозяин изо всех сил упирался ему в грудь, в то место, где начинаются ноги, с таким видом, точно он толкал паровоз.

Три месяца назад Корзубый был расконвоирован; срок жизни его в исправительно-трудовом лагере был им отсижен наполовину. Это был небольшой срок, ибо он не был важным государственным преступником. Он происходил из далекого, большого города, и, как все дети, выросшие на задворках столиц, в темноте и вони подворотен, Корзубый, дожив до тринадцати лет, так и остановился на них. Годы шли, а ему было все столько же: вечный подросток, он на всю жизнь остался хилым и маленьким, с синевой на щеках и желтыми глазами, блеск которых напоминал блеск облизанной дешевой карамели. Отца у него никогда не было, словно и родился он без участия мужчины, зато у них жил веселый парень в обмотках, «папаня», рыжий и веснушчатый, он приносил матери мыло, крупу и картошку. Один рукав его шинели был пристегнут к карману булавкой, но оставшейся рукой он творил чудеса. Он ехал издалека, из Германии, и куда-то далеко, остановился компостировать билет; компостировал без малого восемь месяцев, потом оказалось, что никакого билета не было. Первое время он уходил ночевать в общежитие к какой-то не то сестре, не то тетке; потом как-то незаметно все втроем стали просыпаться по утрам на широкой материнной кровати. Кровать эта, с почерневшими никелированными шарами, занимавшая полкомнаты, в сущности и была их комнатой. На ней раскладывали продукты. Как-то раз папаня ушел и не вернулся, а на другой день к ним явился участковый, он хотел сделать обыск. Но мать уломала его, и с тех пор он часто захаживал, приносил муку и американские консервы «лярд». Синие галифе с подтяжками висели на стуле, а портянки мать развешивала на батарее. В это время Корзубому было уже четырнадцать лет. Он лежал на полу рядом с милицейскими сапогами, и подтяжки касались его лица.

То, что он был невелик ростом, было даже удобно. Однажды он прибил к компании морячков на Курском вокзале, они повели его с собой, усадили за столик, угощали пивом; до поезда оставалось часа два, они вышли из ресторана и забрали вещи из камеры хранения, но времени все еще оставалось много. Они решили зайти еще в одно ме-

сто, добавить, как они сказали, Корзубому велели караулить вещи, шинель дали, чтобы не замерз, велели не спать. Он и не думал спать: попробовал один чемодан, но не смог его даже поднять — матрос вез в нем из Германии часы. Он знал, что там часы, — матрос сболтнул за столом, он даже кулаком стучал по скатерти, кричал: «Я все могу, я всех баб в этом зале могу купить, всех подряд; у меня, может, одних бочат рыжих цельный чемодан!» Чемодан был заперт, он взялся за другой, тоже ужасно тяжелый, приходилось то и дело останавливаться — менять руку. Тем временем моряк, тот, который отдал шинель Корзубому, на вокзальной площади хватился папирос; его отговаривали, совали ему серебряный портсигар с махоркой, но он отпихнул их и пошел через площадь назад за своим «Казбеком». Моряк увидел в зале ожидания свою шинель: она тащилась с огромным чемоданом между скамьями, задевая сидящих и лежащих. Зал был битком набит, и вообще в те годы вся Русь, казалось, была в пути, бежала и возвращалась. Хозяин чемодана рассчитал точным глазомером, сколько тому еще пробираться, и вернулся к ожидавшим корешам. А Корзубый все пробирался. Вдруг кто-то взял его повыше локтя — он скосил глаза, на руке был синий якорь; не раздумывая, кошачьим движением он выпрыгнул из шинели, метнулся к выходу; какой-то старик, лежавший у дверей, занес на него свой костыль — он пнул его ногой в лицо, дед схватил Корзубого за ногу, Корзубый упал. Он вырывал руки, кусался, сидел на пол, а его тем временем выволакивали через боковой выход. Зал, потревоженный, зашевелился, люди поднимали головы от узлов, влезали на скамейки, женщины раскачивали плачущих детей, не отрывая глаз от выхода; воры шныряли между скамьями. На дворе — это был задний двор, окруженный кирпичной стеной, — было пусто и холодно, за стеной над площадью стлыло лиловое сияние фонарей. Несчастный Корзубый стоял посреди двора, матросы обступили его, тот морячок участливо заглянул ему в лицо и, прищурив глаз, двинул его кулаком, как поршнем. Корзубый отлетел к стене. К нему подошли, подняли; матрос прицелился — и снова он отлетел к стене. И в третий раз повторилось то же. Потом они закурили. Кепчонка Корзубого валялась на земле, ее заботливо подобрали, нахлобучили ему на голову. Похлопали по щекам, усадили на пустынное крыльцо. Они не имели намерения мстить и били вполсилы, но считали, что ему нужен урок, хорошо запоминающийся. Один из них вынул из рюкзака буханку белого, отрезал половину и сунул Корзубому в карман. И все ушли. Он остался один на крыльце, сидел с опущенной головой и расставив ноги, чтобы толстые вишневые сопли, как жгуты, висевшие из ноздрей, не липли к одежде. Собственно, в этот день он и стал Корзубым.

Белый конь, пятясь, вышел из стойла. По-видимому, его не собирались вести на водопой, а вместо этого занялись подборанием хомута, что было нелегким делом. Корзубый, всхлипывая, притащил пустой ящик и взбирался на него каждый раз, держа хомут, как образ, которым он собирался благословить коня, и каждый раз хомут падал, как бесполезный хлам, в общую кучу. Белый конь сам изо всех сил помогал, вытягивал голову и вертел шеей так и сяк, пытаясь втиснуться в это подобие круга от стульчака, но, право же, это было все равно, что просунуть ногу в горлышко бутылки. Огромный круп коня загородил проход. Какой-то конек, так называемой монгольской породы, приземистый и густо обросший с ног до головы мохнатой шерстью, оказавшись сзади, воспользовался минутой и больно лягнул его снизу крепкой короткой ножкой. Конь вздрогнул и строго посмотрел на него. Постепенно конюшня опустела, фонари погасли. Через раскрытые ворота видны были в сиреневых сумерках силуэты лошадей, в хомутах и седелках, между ними ходили конюхи, заканчивая последние приготовления. Белый конь, моргая, стоял один. Во рту у него совсем пересохло. Неожиданно сверху на чердаке раздался шум, посыпалась труха, и затем нечто бесформенное и громоздкое свесилось из дыры над лестницей. Покачавшись, полетело вниз и с треском грохнулось об пол. Конь, озадаченный, моргал седыми ресницами, глядя на это событие. Показались ноги Корзубого в валенках «бе-у», то есть бывших в употреблении, — он слез, покрытый пылью, и, утирая нос рукавом, потащил за собой через всю конюшню неслыханных размеров изодранный и измочаленный хомут, который годился мамонту. Гужи были такой величины, что он сам мог бы пролезть в них без труда. Со двора на помощь Корзубому пришли двое: верзила в телогрейке, едва доходившей ему до пояса, тот, который все время кашлял, и еще один старик. Втроем с великими трудами напялили на голову коня древнюю руину, перевернули, обдернули, выпростили из-под хомута запутавшуюся седую гриву и подвязали супонь; на спину коню водрузили седелку с торчащим сверху заржавленным арчаком.

Он был готов. Утро едва брезжило. Но ему не дали времени напиться вдосталь из длинного выдолбленного бревна, оплывшего льдом. В полутьме он двинулся мерным шагом по узкому проходу для лошадей, мимо колодца, обросшего сосульками, мимо сараев, вслед за ушедшими, туда, где сияли огни.

Он увидел то, что отныне должен был видеть каждый день: ворота и выходящих из ворот, в длинных ватных бушлатах, по четыре в ряд (надзиратель махал пальцем — считал ряды), увидел сидящих полукругом псов, бодро облизывающихся, возле каждого стоял солдат, припля-

сывал и хлопал себя по бокам. Два прожектора обливали площадку перед воротами белым металлическим сиянием; и было видно, как четверка за четверкой, вытолкнутые из ворот, подходили к четырем надзирателям, расстегивались и поднимали руки. Те обнимали их и щупали от подмышек до колен.

Выстроилась колонна до самого поворота — до угловой вышки. Очевидно, пора было уже выступать в путь, но начальник конвоя, проваливаясь в снег, пошел вдоль колонны пересчитывать снова, лично, еще раз. Пересчитывание имело глубокий смысл.

Конечно, никто из них не был настолько тупоумен, чтобы предположить, что кто-нибудь из колонны сбежит во время сложной и канительной процедуры утреннего развода, медленного процеживания из ворот, пересчитывания и выстраивания на дороге по ту сторону ограды, под скучающим оглядом надзирателей и солдат, под умными взглядами собак, под пулемётами на вышках, под неподвижным и ничего не выражающим взглядом начальника лагпункта, стоящего на крыльчке вахты и видного всем: бежать было невозможно. И даже тот единственный из тысячи, простреленный автоматными очередями, искусанный овчарками, неукротимый и неисправимый Беглец, тот, для кого не существовало невозможного, даже он, если бы его вывели с этой колонной, выбрал бы для побега другое время.

Но при передаче человеческого поголовья, всей этой рабсилы, как она именовалась в бумагах, от одного символического владельца другому нужно было, чтобы лагпункт не перепоручил конвою ни одного лишнего человечка, а конвой — чтобы не недополучил ни одного недостающего; строго говоря, никого не интересовала сохранность общей цифры самой по себе, а важно было, чтобы никто ни за что не отвечал, но этого взаимного недоверия было достаточно, чтобы обеспечить должную бдительность и тем самым соблюсти интересы высшего и незримого государства.

Ровно столько, сколько убыло по одной графе, ровно столько же должно было прибыть по другой. Ибо каждый из тех, кто только что был выпущен за ворота, кто вышел оттуда, как на казнь, понурился, стараясь как можно дольше растянуть остаток времени до начала работы, как можно меньше торопиться, кому сейчас, совсем как Корзубый своему дохлому коню, кричали то «стой», то «пошёл», то снова «стой», каждый из них был не просто рабочим, одним из неизвестных тысяч и тысяч строителей пирамид, а числился в бумажных ведомостях — числился, как будто подлинной жизнью было это мистическое существование в качестве палочки или цифры, а земная убогая жизнь лишь зыбким его отражением. Числился, то есть состоял на учёте

в списках, сводках и картотеках, на фанерке у бригадира, на доске рядчика, на бирке, приколоченной к нарам; числился в столовой, где он состоял на довольствии, в формуляре у начальника спецчасти, в деле у оперативного уполномоченного, и дальше, и выше, в спецотделе Управления лагеря, в архивах тюрем и пересылок, в Главном Управлении Лесных ЛагереЙ и в Управлении Всех ЛагереЙ. И в совсем уже не-реальном Министерстве, в заоблачных высях, которые даже не в силах представить себе обыкновенное человеческое воображение, не в силах постигнуть обыкновенный ум; в катакомбах секретных картотек среди миллионов других имён значилось и его безымянное имя. И все эти дощечки, формуляры, учётные карточки и пухлые, как телефонные книги, следственные дела — они-то и были подлинные цепочки, цепи и цепищи, которыми невольники были нерушимо прикованы к лагерю, то есть, в сущности, друг к другу, они, а не колючая проволока, пулемёты и автоматы. И если бы даже пожар спалил деревянный часток кол вокруг бараков, если бы часовой-попка уснул со скуки и свалился с вышки вниз головой, а великий начальник повесился в белой горячке в своём кабинете, то и тогда Твердыня Учёта красовалась бы и стояла неколебимо, как Россия; её не в силах было сокрушить ничто и никогда — ни ныне, ни присно, ни во веки веков.

Конь, терпеливо стоявший, стараясь не задремать, не уронить головы, пока не окончится развод, не подозревал, что и сам он состоит на учёте вместе со своим хозяином, со стойлом и хомутом, со всем миром своих дум, с памятью о прошлом и чёрной дырой будущего; что за него уже расписались и даже новое имя присвоено ему. Этой клички он никогда не узнал — не узнаем и мы, потому что к нему, как ко всем этим людям, никто никогда не обращался по имени. Утро медленно занималось, светлело небо, новички, опустив головы, тянулись гуськом, глядя в хвост один другому; впереди покачивающихся мерно лошадиных крупов шагали два солдата-азербайджанца, глаза их, сверкающие, как антрацит, равнодушно озирали унылую окрестность и казались неуместными здесь, в этой лишенной красок и звуков стране; они шагали, скучающие охотники, по снежной дороге, механически сжимая свои автоматы, дула которых опустили книзу, а еще впереди, шагах в двадцати, покачивались плечи и спины последней четверки заключенных.

В хвосте лошадиной процессии, шествовавшей вслед за людьми, кивая короткой головой, послушно семеня мохнатый монгольский конек, присмиривший от впечатлений. И самым последним, крупно ступая расплюснутыми копытами, с окоченевшим Корзубым на спине, медленно шел белый конь.

Загон, устроенный перед входом в рабочее оцепление, был забит людьми до отказа. Ждали, когда охрана разойдется по вышкам. Конюхи спешили, их дело было довести коней до оцепления и передать возчикам, в загон же им не разрешалось входить, чтобы не путать счет. Наконец, стали впускать в оцепление: первыми пошли возчики, за ними двинулись кони.

Явление гигантского коня, замыкавшего шествие, произвело сенсацию. Все головы из загородки, поворачиваясь, следовали за белым конем, как подсолнухи за солнцем, пока он не скрылся в дощатом сарае, где помещалась кузница. Конь вышел оттуда подкованный и показавшийся еще выше, кузнец провожал его, глядя на его копыта, а молотобоец, здоровый детина, тоже вышедший проводить, выглядевший щуплым возле белого коня, смотрел на него почти с суеверным благоговением. Стрелки у входа в оцепление и сам начальник конвоя издали глядели на коня. Тут как раз начали выходить из загона; толпа, радостно гогоча, бросилась поглазеть поближе на богатырскую клячу. Что-то сверхъестественное, сказочное и вместе жалкое было в огромной фигуре с седой нечесаной гривой, с выпиравшими под кожей маслаками; конь покорно занял место в конце обоза; и трудно было предсказать, что с ним будет в этот день: он мог, казалось, свезти на себе целый штабель, а мог и рассыпаться при первом рывке, превратиться в громадную кучу костей и ног посреди лесосеки. Загон опустел, и солдаты с закинутыми за спину автоматами задвинули бревна, перегораживающие проход. Властный рык бригадира разогнал работяг. Возчики уселись, выплюнули мат. Обоз двинулся.

Отсюда до лесосеки было километра два. Оцепление, уходившее рядами вышек далеко в обе стороны, опоясывало всю эту землю: кузницу, мастерские, лесосклад с железнодорожной веткой, широкое сумрачное поле и лес, темнеющий вдали. Но даже здесь чуткие ноздри лошадей улавливали едва ощутимый запах гари — дым костров, смешанный с запахом талого снега. Этот запах на всю жизнь запоминал всякий, кто побывал здесь, он отпечатывался в мозгу. Так началась жизнь белого коня в лагере, последняя из отпущенных ему жизней.

Но вот край неба, совсем уже светлый, порозовел, приняв цвет незрелого арбуза, и казался таким же холодным, но с каждой минутой зрел и наливался соком и, наконец, зажегся, вспыхнул огнем и зазвонел! Среди звона и света на снег из-под земли вывалился малиново-рыжий шар солнца. Красный свет побежал по дороге навстречу идущим, отразился на лицах, блеснул на стальных удилах и замерцал в глазах лошадей. День родился и готовился расправить плечи, и старый конь, чужая запах зари своими нервными розоватыми ноздрями,

всей кожей ощущая этот морозный огонь, щурясь и моргая, почувствовал, как проклятье ночи сваливается с него наземь, и он переступает через него, словно через презренную падаль. Ничего, сказал он себе, еще проживем; ничего. Бывает хуже.

Белый конь стоял посреди делянки. За ним стояли лесовозные сани, двойные, низкие, связанные цепью крест-накрест, возить которые было, очевидно, сущим пустяком. Особый человек разъезжал по оцеплению с бочкой, которая издали казалась облитой патокой, у лошади хвост был весь обвешан, как бубенцами, сосульками, а сам водовоз, в телогрейке, покрытой спереди стеклянной броней, и в таких же, стоявших колом обмерзших штанах, сверкал и искрился, как леденец. Цельный день он поливал водой санные колеи, поливал старательно, не темнил, потому что дорожил своим местом и держался за него.

Вокруг уже трещали костры и сильно пахло смолой; на опушке раздавалось равномерное стрекотанье, как будто там тренировались в стрельбе из пулемета. (Лошадям, бывшим артиллерийским тяжеловозам, этот стрекот напоминал войну и Германию.) Вдруг сильный треск резанул по ушам коня; он вздрогнул и обернулся. Высокая сосна, прямо и стройно рисовавшаяся на голубом небе, одна впереди всех деревьев, пошатнулась и стала медленно клониться, но не от ветра, потому что осталась прямой и стройной, — и вдруг, затрещав еще ужасней, описывая дугу, стала падать лицом вперед и грохнулась, разбросав на снегу свою пышную крону. Ветки были еще живые, качались и вздрагивали. Белый конь был поражен: он считал деревья бессмертными. Тайная догадка о великом преступлении смутила его. Быть может, он даже, подобно многим его собратьям, обожествлял деревья. Событие это, однако, ни на кого не произвело впечатления. Возчик, занятый приведением в порядок цепи, даже не поднял головы. Люди облепили со всех сторон убитое дерево: сучкорубы взмахнули топорами, сучкожоги, проваливаясь в снег, потащили к костру охапки ветвей. Моторист, краснолицый здоровый мужик, взвалил на плечо пилу и, волоча за собой черный кабель, полез большими шагами по снегу, подбираясь к золотистому обнаженному стволу, и стал резать его на части.

Конь ждал. Навальщики, с коричневыми от зимнего загара лицами, пыхтя и орудуя вагами, катили вверх по каткам толстые баланы. Бревно за бревном валилось с катков к нему на санки, и все было мало. «Еще давай, еще», — повторял озабоченно возчик, видимо, возлагая большие надежды на необыкновенного коня. Здесь все работали дружно, выкладывались до конца, и никому, по-видимому, не приходила в голову мысль взбунтоваться, плюнуть на план, сойтись всем вместе... А ведь начальство было далеко, и бригадира не было среди них.

Бригадир с помощником вместе коротали время на складе, в инструменталке, где, сытые и в тепле, они играли в домино, лениво отругивая матерную брань; авторитет их как руководителей производства был несовместим с работой. Здесь же каждый работал, зная, что работает «для родины», то есть ни для кого. Ни, тем более, для себя. Но каждый тащил свою ношу и знал, что и завтра будет тащить, и послезавтра. Он тащил ее, потому что справа от него тащил свой жернов другой, такой же, как он, а слева третий. А те тащили, потому что он тащил.

Возчик рванул вожжи, и конь, склонив шею, толкнулся вперед могучей грудью. Но воз не сдвинулся — казалось, примерз к колеям, пока стоял. Возчик снова дернул, и снова конь толкнулся; сани не шелохнулись. Белый конь стал топтаться на месте, качаясь вправо и влево, возчик бросился искать корягу, дрын, что-нибудь, необходимое, по его мнению, чтобы разбудить ветхого одра и воодушевить на труд... Конь по-прежнему топтался, не обращая внимания на угрозы: он знал, что перегруженный воз нужно прежде расшатать, чтобы он сдвинулся с места; посмотрим, думал конь, еще посмотрим — и все качал и качал плечами оглобли. И вдруг он дернул, упершись в землю всеми копытами, напряжив шею и широко раскрыв набухшие кровью глаза, дернул — и сани тронулись. И вместе с ними, шумно дыша, кивая костлявой головой, вбивая в землю копыта, двинулся вперед огромный конь. Он шел, таща за собой скрипучий воз выше себя и раза в три длиннее, а сзади, поскальзываясь в колеях, торопился, бежал за ним возчик.

Лес расступился и выпустил их. Среди снежного поля, под расплывшимся в бледном небе желтым и туманным солнцем, оба сразу уменьшились, уничтожились — лошадь ростом с мышь, равномерно печатающая шажки по узкой полоске санного пути, воз в три спичечных коробка, груженный карандашами, и семенящий следом крохотный человек в кукольных лохмотьях. Игрушечные вышки, воткнутые в снег через равные расстояния, стояли справа от дороги. Это была граница их мира.

«Но-о!» — скомандовал возчик, погруженный в свои мысли, автоматически, как только прекратился скрип саней; он чуть было не уперся грудью в торцы, продолжая идти за возом: сани стояли как вкопанные. «Чего стал, н-нэ!» — повторил возчик. Он обошел воз, увязая в снегу. Белый конь, мокрый, как мышь, с остановившимся взглядом, странно перебирал на одном месте дрожащими ногами, и худые бока его со слипшейся потемневшей шерстью раздувались и опадали, словно меха.

Он сам не понимал, как это случилось, — сани остановились точно по своей воле. Нет, это проклятые ноги остановились, не спросившись у

него, а ведь тут был длинный подъем, больше половины еще оставалось впереди, и он обязан был выложить все, что у него было, всю силу и упорство, и любой ценой допереть доверху; и вдруг стал. словно глыба гранита свалилась сверху на его воз, вдавив его на полметра в землю.

Ноги дрожали, и невозможно было унять эту дрожь. «Сейчас, — сказал он молча, про себя, — сейчас...». Там, сзади, бесновался и размахивал руками обросший щетиной человек. «Ну?» — спросил конь у своих ног, и ноги пробормотали: «Попробуем». «А ты?» — спросил он у шеи. «Я-то ничего, — отвечала шея, — а вот плечи?»

Он расставил ноги, укрепил их попрочнее и, согнув дугой костлявую шею, дернул, но сани даже не шелохнулись. Он переставил ноги, дернул. Сани и тут не двинулись. Сейчас же что-то увесистое стукнуло его сбоку, ниже крестца. Человек кричал на него. А что ему еще оставалось делать? Он прав, подумал конь. Но раскачивать воз он не решался, потому что, хотя уклон был небольшой, сани все же свободно могли поехать назад, и тогда уж их не удержишь. «Эй, вы», — скомандовал он, а себе он сказал: «Держись», — и подобрался весь; и вот, нащупав упор, вдавившись в землю четырьмя ногами, вобрал в себя воздух и рванулся изо всех сил. Но сани не сдвинулись. Он опять дернул, потянул изо всей мочи. Они не сдвинулись. «Глупо, — подумал белый конь, — это уж совсем глупо». Возчик, который помогал ему, как умел, по-видимому, успел утомиться и тяжело дышал ртом, опустив дубину. «Спокойно», — сказал конь; внезапно, бешеным рывком, царапая лед копытами, он бросился вперед: передние санки скрипнули, воз качнулся — и не сдвинулся. Теперь он весь дымился, пот, не успевая превращаться в иней, стекал по его бокам извилистыми ручейками. Он решил покачать осторожно. «Только не сразу», — предупредил он и выбрал на всякий случай ямки для упора, если глыба поползет назад. «Ну?» — спросил он главным образом для бодрости. Плечи молчали. Он подождал полминуты, потом глубоко задышал, закивал большой головой, затоптался, думая только об одном: как бы не потерять свои точки упора. И обледенелые оглобли запели и затрещали внизу, в тех местах, где они были прицеплены к крюкам в полозьях. Ему удалось качнуть передние санки («Балуи у меня, сволочь, затанцевал!» — закричал возчик), и каждую минуту он со страхом ждал, что сани поедут назад; они не поехали; между тем он выбирал момент; весь смысл этого приема состоял в том, чтобы, раскачав, сразу дернуть, и воз не успеет остановиться. Он раскачивал все сильнее, теперь уже не только оглобли — весь воз за спиной у него стонал и пел на все лады. Раз, два — возчик схватился за оглоблю, конь кивал головой все сильнее... три! Рванул!

И что-то шелохнулось. Рванул! — на вершок сдвинулись тяжелые сани, — рванул!.. Но больше они не двигались. Примерзли. И он стоял, уронив голову, в глазах пошли зеленые круги, колени колыхались.

«...П о д х в а т!» — заорал, вдруг спохватившись, возчик. «Подхват, подхват!» — взывал он в отчаянии, в страхе и надежде, потому что не сваливать же с воза: бригада живьем сожрет за погибшие проценты, да и не под силу одному разгрузить. «Подхва-ат!..» — и голос его бесильно повис в пустоте, а в полусотне метров, на вышке, солдат-азербайджанец, скучая, притопывал толстыми валенками, смотрел на него и пел тягучую песню.

Что-то показалось из лесу, это трусила лошадь. Подхватник подъехал, подпрыгивая, как мешок на ухабах, — он скакал без седла. Он был тощ и бледен, только большие перепончатые уши, вылезшие из облезлой ушанки, надетой задом наперед, сильно краснели. Свалившись со своего коня, подхватник пустился отплясывать чечетку — грелся. Белый конь тотчас узнал его лошаденку: это был давешний лохматый конек, утренний приятель; возчик схватил его под уздцы — монгол оскалился, замотал головой и начал мелко рыть снег передним копытом. Возчик молча отвесил ему рукавицей по короткой морде. Конька поставили впереди, подвязали постромки. Сзади белый конь из своих оглобель смотрел на него сверху вниз спокойным безнадежным взглядом.

Ушатый сидел на снегу и тер, кряхтя, свои уши — точно чесался. Старик-возчик гаркнул команду: «...твою мать!» — воздел руку с дубинкой, и началась эта бесконечная глупая маета, бессмысленность которой была ясна заранее каждому, и только люди этого не понимали: в десятый, в двадцатый раз, надсаживая горло и то хватаясь за оглобли, то отбегая назад, чтобы упереться в бревна, и снова подбегая, ломая свои устрашающие орудия о спины лошадей, старик гнал их вперед и чем больше выбивался из сил, тем становился упрямее. Все было напрасно, хуже того, бесцельно — уже потому, что не было слаженности у старого коня, теперь едва державшегося на ногах, и малорослого конька, так что один раз малыш даже чуть не свалился и, вертясь под ногами, махая грязным хвостом, в сущности, только мешал.

«Эх, — сказал Ушатый, сидя на снегу, — батя... Охота тебе. Да мать их в рот и с ихней работой!»

Возчик как будто не слышал его слов: он что-то делал там, за санями — сопя, разгребал снег. И вот, поднявшись и подняв над головой своей то, что он откапывал из-под снега — обледенелую доску, — бросился вперед с новой и невиданной яростью, словно это были не лошади перед ним, а нечто мерзкое и ненавистное, олицетворявшее его соб-

ственную мерзкую жизнь. Несчастный конек заметался в постромках, сам белый конь, сильно обеспокоенный, мотал головою и пятился, хомут с дугой стал налезать ему на голову; но все это продолжалось недолго. Доска сломалась, возчик с отвращением отшвырнул обломок и сел с размаху на снег, хватая ртом воздух.

«Ну, чего я говорил, — заметил укоризненно Ушатый. — Кончай, батя, в рот их...».

Возчик ничего не ответил, по его лицу стекал пот. Семь лет назад он был приговорен отбывать двадцать пять лет в невидимой стране за что-то, чего он и сам уже не помнил; но теперь он об этом не думал, как не думал вообще о своей прежней жизни: она была ампутирована, ее просто не существовало. Он думал о том, что и у него, и у этого полуволшебного ублюдка, сидящего на грязном снегу, один общий враг — производственный план. Возчик думал о работе. Не было ничего на свете ненавистнее работы. «На х... нам этот лес — мы его не сажали!» — изрек Ушатый.

Вдруг он вскочил. «Подлюки! — закричал он. — Едут. Торопятся, хады. Чего торопятся — срок большой!»

Повернув голову, возчик тупо посмотрел в сторону леса: оттуда показался следующий воз. Дорога одна — с колеи не своротишь...

Ушатый заволновался.

«Ты, але, батя... Ты давай сваливай. Вот что. Дорогу надо освободить».

«А ты-то на что, — отвечал, насупясь, возчик. — Я буду разгружать, а ты гузно греть?»

Ушатый открыл черный рот, воззрился на старика. «Ишь т-ты! — сказал он. — Фашист! Не хочешь работать, падло?..» — «Э-гей, подхват!» — раздался со стороны леса истошный голос. Потом снова: «...а-ат!» Там тоже остановились. Ушатый прищурился и смачно сплюнул на старика. «Отпрягай!» — приказал он. Возчик не шевельнулся. Тогда Ушатый сам отвязал свою лошадь, уселся верхом и поскакал к лесу, подбрасывая локти, Старик равнодушно смотрел ему вслед.

Но Ушатый не остановился у застрявшего на опушке воза, а объехал его и скрылся в лесу. Спустя немного он показался снова на дороге, и усердно кивающая короткая голова монгольского конька стала увеличиваться навстречу неотрывно смотревшему старику. Ушатый что-то вез. Он спрыгнул и полез по снегу в своих опорках, щурясь от дыма и даже не взглянув на старого коня, который с любопытством повернул к нему голову. Ушатый с озабоченным видом подбирал вожжи одной рукой, все так же щуря глаза и отворачиваясь от едкого дыма...

Опомнившись, возчик вскочил на ноги. Но было уже поздно. С непостижимой быстротой Ушатый подцепил обеими вожжами репицу, и хвост приподнялся. В ту же минуту Ушатый, высунув язык, подскочил и воткнул тлеющую головню под хвост белому коню. Конь вздрогнул, как от удара током — запах горелого мяса пронесся в воздухе, — конь рванулся отчаянно вперед, сани затрещали и тронулись.

Возчик поспешил за санями.

«Подхва-ат! « — донеслось к ним из леса...

Белый конь стал привыкать к своей работе; потянулись дни; работа каждый день была одна и та же. Она уже не казалась ему невыполнимой. Возчик узнал его лучше и нагружал ровно столько, сколько можно вытянуть при максимальном напряжении сил. На большом циферблате года, где один день был лишь малой частью самого маленького деления, со скрежетом передвинулись стрелки. Малиновое солнце снегов закатилось — вместо него взошло ржавое, желтое солнце болот, и навстречу ему из разбухшего снега высунулись бурые кочки, выставили плешивые головы старые пни, засверкали лужи, и огромные, обреченные на смерть березы беспомощно заплакали светлыми слезами. Дорога почернела, поднялась и стала проваливаться под копытами; мокрые сани скреблись об нее полозьями. По-прежнему рослый конь тащился со своей поклажей, словно козявка, посреди широкого поля; но оно уже не казалось, как прежде, пустым и безжизненным. Чуть ли не вдвое увеличилось расстояние от делянок до штабелей лесосклада, и кругом на необозримом пространстве расстиралось кладбище пней.

В мае перебрались в новое оцепление, над которым подготовительная колонна трудилась целых четыре месяца: в густом лесу, где снег в лощинах был по грудь, прорубили широкие, в пятьдесят метров, просеки. Сверху, если бы кто-нибудь пролетел низко на самолете, это выглядело как грубо вырезанный квадратный остров на краю таежного океана; сейчас же вдоль четырех просек начали ставить вышки, построили заборы и проволочные ограждения. После этого дорожные бригады с разных сторон врзались в чашу, они построили там, во тьме и сырости, лежневые дороги, от которых загибались по сторонам усы — ответвления к делянкам; новый ломоть тайги размером четыре квартала был отрезан, оцеплен проволокой, обставлен вышками и разбит на участки, и уже заранее было подсчитано, сколько добычи можно увезти с каждого участка, и эту цифру в управлении лагеря умножили на два, и это и был план. И план этот, для того чтобы начальство получило премию, должен был быть перевыполнен. Птицы, вернувшиеся из южных стран, в испуге разлетались куда глаза глядят, звери панически бежали, слышав стук топоров, жужжание пил и глухой

шум падающих деревьев, и стрелки на вышках автоматными очередями били скачущих через просеку лосей и зайцев — от скуки, потому что некому было их подбирать.

Она была короткой, эта весна, и таким же коротким было лето, которое здесь встречали и провожали, не снимая ватных доспехов, только вместо стеганых вислосадых штанов обитатели тайной страны нарядились в портки из синей диагонали, которая тут же слиняла, оставив чернильные пятна на ягодицах и коленях; и были розданы новые портянки, белые и чистые, которые в первый день весело выглядывали из ботинок, а остальные триста шестьдесят четыре дня были уже как прежние — черные и заскорузлые. Новые башмаки, как ни крепились, к вечеру превратились в старые; утром перед разводом бригадники заботливо мазали их солидолом. Утро теперь начиналось рано; но еще до рассвета белому коню, дремавшему в своем стойле, чудилось чавканье башмаков по навозной жиже: они шли, эти башмаки, за ним, по его душу, неумолимый звук приближался, и он поднимал свою каменную голову с пустыми черными глазницами — на дне их, как пробудившиеся существа, оживали его глаза, — и, пятясь, он выбирался из тесного стойла. В урочный час громадный конь, мерно переступая расплюсченными копытами, выходил и становился в оглобли.

Уже у него был запал — неизлечимая эмфизема легких. Искривление передних ног, называемое козинцом, которое и раньше было у него, теперь стало особенно заметным. Но рост его не уменьшился. Худой и костлявый, с выпирающими ребрами, он казался еще выше и страшнее. Он проработал в летнем оцеплении всего две недели, упал на лесосеке и был списан с производства в хозобслужу.

Примерно к этому времени исторические предания относят важный политический переворот, происшедший на лагерном пункте, хотя сам по себе случай, послуживший его причиной, не представлял ничего необыкновенного. В одно прекрасное утро растворились ворота, выпуская работяг; позади, как всегда в это время года, раздавалось жестяное громыхание самодеятельного оркестра, и под звуки бодрого марша, следом за первыми бригадами, в тусклых солнечных лучах, пятьдесят заключенных вымаршировали ряд за рядом за зону, в подштанниках — и больше ни в чем. Должно быть, их воодушевила надежда, что начальство, увидев такое бедствие, задержит, начнется разбирательство — там возня с каптеркой, с бухгалтерией, а тем временем развод кончится, ворота закроют, и удастся прокантоваться в зоне, в согласии с народной мудростью: «день канта — месяц жизни». Но никто не среагировал, начальник конвоя равнодушно поглядел на них — явления в исподнем случались после игры в карты, правда, не целой бригадой, — и псарня,

не моргнув глазом, пересчитав, выпихнула их к остальным в колонну. Оттуда раздался великий хохот. Но было холодно. Голос с мусульманским акцентом прокричал обычное наставление: за неподчинение законным требованиям, «попытку к бегству» конвой применяет оружие. Ясно? Следуй! — колонна двинулась, и их тощие ягодицы, обтянутые ветхой тканью, задвигались в такт, и желтые пятки, по четыре пары в ряд, зашлепали по жиже.

Впереди шагал, придерживая кальсоны, бригадир, он был мрачен. Это он первый заметил, проснувшись от холода, раму, вынутую целиком из окна, она виднелась снаружи, прислоненная к стене барака. Его койка стояла напротив окна. Вся секция была, что называется, подметена под метлу, не осталось и пары рваных башмаков, и со всех сторон, наверху и внизу, с нар свисали, сиротливо почесываясь, босые ноги. Когда же бригадир, заглянув под койку, единственную во всем бараке, посмотрел туда, где накануне вечером стояли вымытые дневальным его резиновые бригадирские сапоги, его гордость, символ власти и благоденствия, то только и смог пробормотать: «Ну, с-суки!...» — но в голосе его прозвучал отдаленный гром. На другой день после марша был плановый выходной, подарок начальника, и какой-то праздник — в столовой, украшенной лозунгами, выдавали премии лучшим производственникам: кусок мыла и двести пятьдесят граммов хлеба; а когда стемнело, толпа, вооруженная кольями, молча двинулась в секцию полувцветных. Песни и пляски и беззаветное шлепанье себя по обтянутому диагоналевыми портами заду под гитарный звон — все смолкло, когда в сенях раздался топот — где-то удалось добыть, взамен украденных, вконец разрушенные и списанные башмаки; дверь чуть не разлетелась от удара ног, на пороге стояли работяги, держа наготове то, что составляло чихлый палисадник, ограждавший главный трап. Мрачный голос гаркнул: «Под нары!» — в одно мгновение все очутились под нарами, несколько старших блатных сидели на своих местах, глаза их бежали. Потом вдруг погасла лампочка, и во тьме послышалось что-то вроде хриплого лая.

Спустя несколько времени маленький, щупленький, незаметный работяга, из тех, чьего имени никто никогда не помнит, войдя в столовую, где уже окончилась торжественная часть и началась самодеятельность, пробрался между рядами и, толкнув фельдшера, сидевшего на почетном месте позади начальства, сообщил кратко: «Заберите», но когда фельдшер с лепилой, ворча и бранясь, явились все же в барак, понуждаемые профессиональным долгом, то могли лишь увидеть впотьмах, что забрать «это» не только четырьмя, но и двадцатью руками невозможно.

Нескольких человек похоронили. Утром унылая процессия покидала лагпункт: одни ковыляли, обмотанные тряпками и бинтами, опираясь на руку товарища, другие тряслись в телегах: их переводили в другое место, большинство держало путь на больничку. И умный белый конь, влачивший дроги во главе траурного обоза, размышлял о бренности власти, о недолгой славе земных владык.

Привалило работы уполномоченному и стукачам. Оживилась переписка инстанций. Пятьдесят дел в новеньких синих папках было заведено — на всех членов бригады, дождавшейся таки отдыха: ибо все пятьдесят сидели в кондее. Но олигархическая власть духариков и цветных была свергнута. Ближайшим результатом этих событий было то, что по всей стране Лимонии издан был строгий приказ убрать палисадники со всех лагпунктов.

С августа начал лить дождь. Однажды начавшись, он уже не мог, не имел права в силу какого-то установления остановиться и лил, не иссякая, до октября, когда ему надлежало превратиться в снегопад. Стрелки года завершали свой круг, из долгих сроков вычиталась одна костяшка, а белому коню казалось, что уже целую вечность он взирает на длинные нити дождя, струящегося из облаков. Бог весть, с каких пор он идет-плетется по разбитому ступняку, среди тусклой равнины, проваливается в грязь, вылезает — и все тащит за собой двойную, соединенную цепью крест-накрест вагонку. На вагонке стоял ящик. Экипаж катился, поскрипывая, по еловым лежням, и, когда подъезжали к яме поглубже, конь становился копытами на скользкие лежни, словно выполнял сложный цирковой номер. Некому было аплодировать! И таким способом, вытянув шею, работая лопатками, перебирался мелкими шажками над бездной, волоча вагонку. Дождь желтыми ручьями, как по желобам, стекал у него между ребрами, капал с челки и длинной, похожей на старые водоросли гривы. В ящике, за высокими бортами, раскачивался мокрый картуз Корзубого. Из конюхов он тоже был переведен в обслугу.

Следом за ними тащились под дождем еще две подводы. Когда подъехали к складу, длинному навесу, наспех построенному между рыжими холмами опилок — здесь прежде была пилорама, — когда загрузили все три ящика доверху осклизлыми, черно-желтыми кочанами капусты, расписались на фанерке у бесконвойного сторожа и перепрягли лошадей, то есть отцепили оглобли от передних крюков, перевели коней назад и снова прицепили, то уже начало смеркаться. Теперь вагонка Корзубого оказалась последней.

Решили напоследок погреться у костра. Сторож жил возле навеса, в какой-то щели из досок; здесь был расстелен его отсыревший тулуп.

Целые дни он проводил в одиночестве, отдыхал вволю, а в зону являлся только за сухим пайком. Все кругом, казалось, пропиталось водой, все протекало и хлюпало, но зато — не работать!.. Квартал был пустынный, заброшенный с тех пор, как в нем не осталось больше ни одного дерева, и не верилось, что полгода назад на месте желтой, залитой водою равнины стояла лесная чаща, темная, как ночь. Остались только потемневшие от сырости холмы опилок, разбросанные повсюду щепки и чурбаки, клетки штабелей, утонувшие в болоте, и пни, пни до горизонта; да еще провалившаяся насыпь от узкоколейки, по которой укатило все это лесное царство, а взамен него, в уплату, привезли сюда черную капусту.

...И они упали, эти деревья-гиганты, но не так, как падали их предки, помнившие Сусанина, и прапрапредки, которым летевшие с юга птицы, усталые и возбужденные, рассказывали, как с восхода, из Азии — они видели — поднялась туча пыли, оранжевые облака закрыли небо, и тогда услышали донесшийся из желтой тьмы глухой drobный топот — это неслась конница татар.

Нет, они упали не от старости, как те, кто раньше рос на их месте, и не для того, чтобы уступить его молодым, — а рушились одно за другим, валились, круша подлесок, под зычные возгласы повальщиков на родные мхи, откуда два века назад они поднялись тонкими стебельками у подножья отцов. И сейчас же люди обступали их со всех сторон: обрубки рубили им руки, раскряжевщики пилили на части их тела, сучкожоги стаскивали в кучу и жгли их богатый убор. А там уже навальщики, покрывавая, катили смолистые бревна по гнущимся от тяжести каткам, которые каждый раз подпрыгивали, когда балан валился на повозку. И лошадь вздрагивала и поворачивала голову каждый раз. А там маркировщики метили древесину черной краской по торцу, контролеры отбивали баланы молотками, и перепачканные смолой укатчики накатывали их в штабеля, высокие, как дома; ночью, в сиянии прожекторов, грузчики, хрипло вскрикивая, грузили их на платформы и в полувагоны. Из паровозной будки выглядывал бесконвойный машинист, и бесконвойный стрелочник переводил стрелку. Лес уезжал — на волю, как думали люди.

Лес предназначался для шахт и оставался там, под землей, исчезал весь, сколько бы его ни привозили. Но и под землей смолистый непобедимый дух был так силен и опьяняющ, что тамошним заключенным казалось — дерево пахнет волей. А другие составы направлялись на север. Здесь все: и железная дорога, и порт, и город, раскинувшийся вокруг, — было построено заключенными, и у тех, кто грузил лес в трюмы, были тоже вместо паспортов формуляры. И для них эти ли-

тые, круглые, желтые, как масло, брёвна пахли не потом человеческим, даровым, не Указом и Пятьдесят восьмой, а зеленой чашей, соком земли — волей. И пароходы, уходящие за море, приветствуя родину прощальными гудками, увозили запах воли в чужие страны.

Дождь, как старческая слеза, сочился с неба, но Корзубый, сидевший на кочанах, знал твердо, что не следует торопиться, иначе погонят еще в один рейс. Он отстал от передних подвод — хоть и те не спешили — и под конец вовсе потерял их из виду, так что когда впереди оказались в мутных пеленах дождя какие-то дроги, он понял, что передние уже успели миновать стрелку — единственное место, где можно было разехаться встречным. «Подождать не мог, сука», — выругался Корзубый. Встречный экипаж оказался бочкой, и человек, стоявший на передке с вожжами, был известный всему лагпункту усатый дед, или Ус, как называли кратко тех, у кого хватало терпения возделывать под носом у себя эту растительность. Грязная, пахнущая его специальностью куртка старика, брюки, стоявшие колом, и выставленные вперед руки с вожжами, такие же черные, как длинная ручка ковша, торчавшая за его спиной из бочки, — все это, неумолимо приближаясь, двигалось навстречу белому коню как бы само собой, собственной силой, подталкивая перед собою некое существо с кривыми дрожащими ногами и нелепо висевшей между ними большой головой — чахлого и облезлого одра, навсегда, казалось, утратившего интерес к жизни. Белый конь, моргая, с трудом узнал в нем конька-монгола, такого бойкого и задиристого в эпоху их первого знакомства. Теперешняя их встреча была подобна встрече на канате: одноколейная лежневка была единственной твердой почвой посреди широкой и мертвой равнины с торчащими из воды пнями. Лошади остановились, возчики спрыгнули в грязь и стали кричать и махать руками.

С высоты своего роста белый конь с болезненным участием смотрел на товарища. Тому все было безразлично. С полузакрытыми глазами, точно спящий, он сошел с лежневки — старик тащил его под уздцы — и поплелся, бессильно переставляя ноги, между кочками. Следом тележка нехотя соскочила с жердей, бочка качнулась, плеснув коричневой жижей, нырнула вбок и съехала в трясику; ковш гремел и болтался в ней, как ложка в стакане. «Пошел!» — Корзубый тронул своего коня. Конь шагнул вперед и остановился: ящик с капустой зацепился углом за бочку. Пока, отцепив оглобли, переводили громадного коня назад, цепляли и оттаскивали обратно вагонку, пока перецепляли снова и, погружаясь башмаками в грязь, кряхтя, поднимали соскочившие с жердей стальные катушки колес, пока бранились и пререкались, прошло не меньше часа.

Корзубый, уезжавший, свесив ноги с ящика, быстро потерял из виду бочку и ассенизатора, хлопотавшего возле своего оцепенелого коняги, тщетно понукая его так и эдак втащить тележку обратно на лежни. Все затянуло паутиной дождя.

Белый конь шагал в глубокой задумчивости, привычно глядя себе под ноги, хотя помнил наизусть все ловушки — топкие места и покрытые водой ямы. С той поры как пошли дожди, дорога разрушалась с каждым днем. С досадой вспоминал он о далеких временах, когда глаза его одинаково зорко видели днем и ночью. Несколько раз он споткнулся, вызвав неудовольствие седока, а один раз даже увяз копытом в расщелине между ступняком и шпалой — толстой плахой, к которой приколочены были лежни. Оба — конь и возчик — мечтали только о том, как бы скорей добраться.

Он дошел до стрелки, той самой, где усатый Ус разминулся сколько-то времени тому назад с передними возами. Сейчас ее едва можно было различить в густеющих сумерках. Возчики, должно быть, уже давно доехали до лагпункта. Задремавший под равномерное чавканье копыт Корзубый пробудился и заорал сверху. Конь не двигался, и, свесившись с ящика, Корзубый разглядел, что стрелка не то что не переведена, а разрушена вовсе: одна лежня, измочаленная, валяется в стороне, другой совсем нет. Он спрыгнул и полез вокруг, ища недостающую лежню, не сумел выдернуть ее из топи и вместо неё положил какую-то другую жердь; сморщился, харкнул команду — конь недоверчиво покосился и тронул копытом дно. Помедлив, тронулся; в ту же минуту раздался треск, тонкая жердь сломалась. Ящик сразу осел одним боком. Белый конь стоял по колено в воде, раздумывая, попробовать ли ему протаскать вагонку вперед в расчете, что она проскользнет по обломкам на крепкую лежню, или обождать, пока Корзубый что-нибудь придумает. Корзубый придумал: он притащил полено, сопя, стал подсовывать под увязшее колесо. Он долго возился там, поругиваясь вполголоса, наконец, выпрямился и, не спуская глаз с утонувшего колеса, тронул вожжи. Конь нажал грудь. Колесо показалось из воды, стало налезать на полено, сейчас же полено ушло вглубь, за ним колесо, беззвучно, как рыба в воду. «Сука, хад!» — выкрикнул Корзубый. Он бросился подкладывать обломки ступняка, колья и коряги под тонущие колеса. Белый конь стоял, погрузившись всеми четырьмя ногами в трясину, оглобли и дуга вздыбились над ним, хомут, туто засупоненный, давил ему снизу на шею. В полутьме сквозь нити дождя смутно белел его огромный круп, ящик, казавшийся длиннее и выше, темнел, как катафалк. Слышалось озабоченное шмыганье Корзубого и захлебывающееся чавканье его башмаков. Он отцепил оглобли, конь, с трудом вытаскивая но-

ги, выбрался из трясины, и вдвоем они отправились вокруг по кочкам, путаясь в вожжах и волоча оглобли, — в обход воза, тянуть его задним ходом. Не тут-то было. Белый конь хоть и стоял теперь на прочном, более или менее, ступняке, но стоило только дернуть, как передние колеса, увязшие первыми, вместо того чтобы вылезти, опустились еще глубже, увлекая за собой опорную крестовину под ящиком; идея Корзубого вытянуть сзади была ошибкой; ящик накренился, как гибнущий корабль, вилки капусты посыпались в грязь. Корзубый плюнул, сошел с лежневки; качаясь и растопырив руки, добрался до ящика, отцепил правую оглоблю. «Давай, давай, ну!» — приговаривал он, упершись руками в мокрое бедро коня и стараясь столкнуть его вбок. Белый конь, недоумевая, сошел с дороги. Тотчас ноги его ушли в топь. Он, наконец, догадался: Корзубый хотел вытащить правые колеса за левую оглоблю, но и это было ошибкой. Конь понимал, что это ошибка. Но люди никогда не считались с его мнением. «Но!» — скомандовал Корзубый. «Н-но, х-хад, подлючий потрох!» — озлившись, крикнул он медлившему коню, и пришлось подчиниться: он дернул, и случилось то, чего он опасался. Колеса поднялись на мгновение из воды, воз качнулся и сейчас же, громыхнув, осел другим углом — соскочили левые колеса. Теперь катафалк медленно опускался, погружаясь в трясины всеми колесами.

Было слышно, как шелестит дождь. Конь стоял неподвижно в грязи. Корзубый, сидя на мокрой лежне, плакал. Корзубый поднял голову. Он поглядел на светлую полосу над горизонтом, но у него уже не было надежды: старик, если бы он возвращался этой дорогой, был бы давно здесь. Старика не было. Старик поехал на кладбище опорожнять свою бочку: туда, где среди желтых луж торчат кольца с дощечками, много колев — до самого края. На каждой дощечке чернильным карандашом номер формуляра. Номера расплылись, и кольца покосились в разные стороны. И тяжкое зловоние над всем полем... Время позднее. Он давно уже вернулся по другой дороге, если сам не потонул. Бросил его усатый старик. А сам Корзубый разве не бросил тогда старика одного — а ведь тот уступил ему дорогу. Вот так везде и всюду, везде и всюду закон один: ни на кого не надейся. Не жди добра ни от кого. Кому ты нужен?..

Послышался всплеск — сосущий, хлопнувший звук, как будто вытащили руку из теста: это конь, озябнув, переступил онемевшими ногами. Потом, тряся гривой и фыркая, боком, с усилием выбрался из болота и стал на лежневку. Одна оглобля осталась неприцепленной.

И тогда Корзубый медленно поднял глаза. В темноте они встретились с другими глазами. Взгляд коня был глубокий, влажный. Во тьме глазниц он как будто мерцал и светился; конь смотрел на него, словно собрался, наконец, сказать ему свою длинную, страстную речь, и Кор-

зубому стало не по себе. Но это длилось недолго. Ярость охватила его, внезапно и целиком, как огонь охватывает солому: он увидел своего врага, виновника всех несчастий. Он затрясся, подскочив к коню, пнул его ногой, схватил конец оглобли, лежавшей на земле, зацепил его за крюк, спрыгнул с лежневки, с необыкновенной силой выхватил откуда-то из-под низу рогатую, чудовищной толщины корягу и стал с размаху рубить по чему попало — по крупу, по холке, по вскидывающейся ошалелой морде, пока не изломал и не искрошил свою дубину. Обломки рогов полетели в грязь. Колеса выпахали трясину, так что она превратилась в бездонную чашу, до краев полную черной жижей, — вся передняя часть похоронной колесницы ушла туда. В темноте раздавалось тяжелое дыхание человека. Белый конь, облитый жарким потом, не чувствовал дождя. Глаза его, вылезшие из орбит, медленно моргали. Из раскрытого рта вывалился язык. «Ну и хуй с тобой, — пробормотал Корзубый, — околевай, сволочь...» Он повернулся и, пошатываясь, побрел прочь, мимо ящика и едва белеющих разбросанных и разбитых вилок капусты. Конь остался стоять, опустив голову; дождь шелестел, не усиливаясь и не убывая.

Он почуял человека. Открыл глаза: Корзубый держал его под уздцы. Оглобли были отцеплены. Вдвоем, увязая в болоте, они обогнули ящик, взобрались спереди на лежневку. Они оказались слишком впереди, пришлось пятиться. Задние ноги коня опустились в трясину. Он не обращал внимания. Другого выхода не было: надо было браться и тянуть — в десятый, в пятидесятый раз собираться с силами и тянуть вперед. Впереди была лежневка, твердая земля.

Однако зацепить оглобли за передние крюки оказалось непростым делом. Все утонуло в грязи, ящик съехал вперед, закрыв собой колеса, — не на что встать. Корзубый погрузился по пояс в холодное месиво. Он нащупал в глубине крюк, другой рукой он тянул к себе оглоблю, и конь, в грязи по самые заплюсны, осторожно переступал ногами, чтобы не примять маленького человека, копошащегося под самым его хвостом. Корзубый прицепил сначала одну, затем другую оглоблю и вылез. Грязь стекала с него, как варенье.

«Ну», — просипел он.

Гигантское костлявое тело зашевелилось в оглоблях. Конь пригнул шею, задвигал крупом, ища опоры задним ногам.

«...давай, давай», — шептал Корзубый, точно молился.

И конь наддал. Он нажал грудь, выгнув шею и уставившись в одну точку мерцающими в темноте глазами. Ящик вздрогнул, но сейчас же ноги коня стали уходить еще глубже. Он отпустил, переждал с полминуты, не больше, переступил где-то там, на зыбком дне. Вновь на-

брал полную грудь воздуха — и нажал. Внутри у него, он чувствовал, звенела и дрожала высокая струна. Он отпустил, тяжело дыша. Рядом тяжело дышал Корзубый. Потом губы его снова зашевелились. Но белый конь не стал нажимать еще раз. Вместо этого он неожиданно весь ослабел, обмяк, голова начала опускаться, отвисли губы — вот-вот упадет, — и вдруг, широко раскрыв сверкнувшие глаза, он бросился вперед. Он хотел застать злую силу врасплох.

Но она была начеку.

Ах, вот как, подумал конь. Он снова прыгнул, разбрызгивая грязь, и сразу порвал все струны. Мысли погасли. Какие-то птицы с красными клювами пронеслись перед глазами.

Он прыгнул. И потом опять прыгнул. И еще раз рванулся. А потом покачался и снова ринулся вперед, как зверь. Упал, опять поднялся.

«Стой! Стой!» — кричал ему возчик.

Огромное тело билось, вздымая фонтаны грязи, и все глубже уходило в трясины, путаясь в упряжи, увлекая за собой сломанные оглобли. Остановившимися глазами, пятясь и отступая в болото, Корзубый глядел на торчавшую из черной бездны гигантскую голову с хомутом, налезшим на глаза, которая все еще рвалась вверх и кусала воздух оскаленными зубами.

Он заметил, что это были вожжи. Вожжи, которые он не догадался отцепить, и теперь они запутались за передние ноги и тянули вниз захлебывающуюся голову. Суки! ебаные в рот!.. Он весь вытянулся, стараясь дотянуться до кольца, до хрипящей пасти. Да нет, куда там. Надо лезть туда, к нему, и там вместе с ним. Это удалось ему после долгой борьбы, но, когда, почувствовав, что ноги неожиданно освободились, обессиленный конь, не веря сам в свое спасение, стал выбираться из топи, он задел впотьмах, в черной каше, копытом что-то мягкое и подвижное, копошившееся вместе с ним.

Он и потом не верил и не понимал, как это могло случиться, когда стоял, весь облепленный грязью и полуослепший, в изумлении и горе уставясь на черную пропасть, где исчез Корзубый.

Он стоял, возвышаясь на темном небе, и все ждал, не покажется ли оттуда знакомый рваный картуз. Но хозяин ушел, ушел навсегда, и он не мог последовать за ним, потому, должно быть, что сам он был бессмертен, хоть и не знал этого. Дождь перестал, и запах звезд, тонкий, неуловимый, коснулся его ноздрей. Конь заржал, но никто не услышал его плач. Черным видением приблизился и встал над болотами лагерь, и на вышках зажглись прожектора.

Сталь и плоть

Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: в том, чтобы просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях. Переводя на язык чуждого ему племени, можно сказать, что он не был создан для семейной жизни. То было время, о котором когда-нибудь будут говорить как о золотом веке. Эпос соплеменников пополнится новым циклом сказаний. Никогда ещё добывание пищи не было таким лёгким и приятным занятием, никогда в лесах не водилось столько лосей и кабанов. Отчасти из-за этого благоденствия он утратил бдительность.

Другая причина была та, что я как бы уже родился счастливым. Смутно вспоминаю моих братьев и сестёр, они погибли во время Большой облавы. Мать увела меня из родных мест в дальнее заречье, в непроходимые заболоченные леса. Отца я не помню. Я жил в удобном логове под вывернутыми корнями огромной упавшей ели, вход, прикрытый еловыми лапами, невозможно было заметить даже вблизи. Птицы кружили над моим жильём, привлечённые запахом гниющих костей и черепов, я любил этот запах. Невдалеке протекал ручей, это было очень удобно, в любое время дня и ночи я мог утолить свежей проточной водой жажду после одинокого пира. Такой у меня характер — я одиночка. Конечно, отыскать себе пару в конце зимы, когда на холодном солнце-пёке, под слепящим небом старые ели роняют хлопья снега и наст начинает хрустеть и подламываться на полянах, для меня никогда не составляло труда. Я был красив! От моей матери я унаследовал богатый мех, серо-серебристый в сумерках, золотящийся на солнце, я гордо нёс за собой длинный пушистый хвост, украшенный на кончике пучком чёрных волос. Я мог устроиться на дневу прямо на снегу, достаточно было лишь слегка его притоптать. Даже в трескучие морозы мне не было холодно. Живот у меня светлей, и там, где прячется мой пол, кожа особенно нежна и покрыта белым пухом. Я был красив и любил себя так, как самка любит самца, но моя страсть была неутолима.

Я никогда не потел, даже после многочасового изнурительного гона во главе стаи. Одно время я был вожакom. Но природное одиночество победило, и то же можно сказать о моих многочисленных любовных

связях. У нас в обычае воспитывать волчат вдвоём и содержать их по крайней мере до тех пор, пока они не научатся сами добывать себе пропитание. Я же оставлял своих подруг и выводок где и когда мне вздумается. Возможно, это у меня от отца; как уже сказано, я не знал его. Зато мать стоит у меня перед глазами. Она происходила из старинного рода синеглазых волков, в ледяные ночи она показывала мне звёздное логово предков к югу от Весов, там, куда простирает руку Кентавр. От неё я унаследовал неподвижный, ледяной, немигающий взгляд, который парализует жертву.

Теперь я могу начать историю, о которой упомянул вскользь; как уже сказано, я был на вершине лет, в расцвете сил, мужской красоты и потенции; вокруг на десятки, может быть, сотни километров не было человеческого жилья, и о повадках людей зверь, о котором идёт речь, лишь знал понаслышке, не умел отличать запах человека, не был знаком с опознавательными зарубками на стволах, с красными ленточками, которые иногда привязывают к ветвям охотники. Никаких знамений, никакого предчувствия, как у других представителей его расы. И всё это тоже сыграло свою роковую роль. Однажды ночью, на десятом году жизни, он угодил в капкан.

Не было ничьих отпечатков, никаких следов, кроме его собственных; должно быть, охотник отступал по своим же следам и забрасывал за собой снегом. Короткий клацающий звук, как будто щёлкнула чья-то пасть, и стальные клещи сдавили левую переднюю лапу выше запястья. Капкан был весьма искусно установлен по проходному следу, центр полотна находился под самым отпечатком волчьей ноги, механизм в глубине был прикрыт белой бумагой, чтобы днём не просвечивать под снегом, и от него тянулась проволока к волоку.

Показалось сперва, что сломана кость, но кость была цела. Он дёргал лапой, волок не поддавался, был каким-то образом закреплён, чтобы зверь не ушёл с капканом. Волк потерял рассудок. Много часов он то дёргал капкан, то падал рядом, забывался на короткое время, снова вскакивал, дёргал и расшатывал крепления; лапа онемела, пальцы с когтями не шевелились, под утро пошёл густой снег, рассвет застал волка лежащим без сознания под толстой белой пеленой. Днём должны были появиться люди. Нужно было собраться с мыслями. Он подпрыгнул несколько раз и упал в мягкую могилу. Снегопад продолжался и замёл яму. Волк помчался к оврагу, где его поджидала мать. Он хотел заговорить с ней, зашевелился в снегу, боль пробудилась и поднялась от мёртвой лапы к плечу. Подождав немного, он сделал новый прыжок и ещё один в сторону, и ещё один, и тяжёлый волок как будто подался. Солнце, как заспанный

глаз, проступило сквозь густые облака. Волк прыгал в глубоком снегу, волоча за собой капкан, он искал убежище. Волк свалился в овраг. Так прошёл день. Вечером он умер.

Ветер разогнал снежные тучи, волк пребывал по ту сторону жизни, простёрся в сладостной истоме, не чувствуя ни боли, ни холода, радуясь тому, что не надо больше двигаться, не надо думать, не надо ничего. Уже третьи сутки он ничего не ел и не чувствовал голода, что было естественно, ибо за пределами жизни надобность в еде и питье отсутствует. Любопытно, что в этом потустороннем мире всё осталось прежним: снег, лесная чаща и медленно плывущие серые облака; я лежал на боку, на дне моей снежной гробницы, и почуял приближение людей. Это заставило меня одуматься; я понял, что вернулся к жизни. Было сумрачно, за деревьями дрожали огни. Люди стояли с факелами, не решаясь подойти ближе. Вдруг залаяла собака, за ней другие. Вот кого мы презираем ещё больше, чем людей. В наших сказаниях есть миф о предательстве. Странно, что они медлят. К ночи я почувствовал себя лучше. А главное, я знал, что мне надо делать. В мёртвой тиши над кронами деревьев стояла высокая белая луна. Я попытался встать на ноги, это удалось не сразу. Едва поднявшись, я снова упал, перевалился на живот, подтянул поближе омертвелую лапу в стальной подкове капкана и впился зубами повыше запястья; к моему удивлению это оказалось не очень больно. Я рванул кожу, почувствовал солёный вкус и увидел, как снег под капканом стал чернеть. Я услышал чьё-то урчанье. Это был я сам, мои зубы терзали лапу, теперь она пылала от боли, я упёрся в кость, предстояло главное испытание, насколько легче было бы, если бы кость была сломана! И я призвал на помощь призрака матери.

Она явилась, выскочила из тьмы и стояла надо мной, ничего не говоря и глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Её шерсть была окружена лунным сиянием. С отвратительным хрустом нога надломилась, от боли я потерял сознание. Когда я очнулся, моя лапа со скрюченными когтями, вместе с капканом лежала в чёрном от крови снегу. Я не знаю, кто это сделал. Моя мать исчезла. Я хватал комья снега, пропитанного замёрзшей кровью, глотал их. После этого я отполз в сторону. Я был свободен!

Кто-то должен был первым подать голос, пернатый самец впервые в жизни подманивал самку, к нему присоединялись другие, небо светлело, становилось выше и шире, солнце зажгло верхушки елей, и вот уже вся тайга звенела и гомонила голосами птиц; наступила весна. Волк вышел на дорогу.

Он был уже не молод, но всё ещё красив, с большим серо-седым воротником вокруг шеи, темноватым седлом на передней части спи-

ны, с пушистым хвостом, сохранившим чёрные волоски вокруг кончика, знак его происхождения. Он стоял на трёх лапах, поджав культю левой передней ноги, и неподвижно смотрел в просвет узкой просеки. Волк отказался от дневной лѐжки, чуял приближение лошади, слышал мерное хлюпанье подков по непросохшей дороге и поскрипыванье колѐс, чуял человека. Всё было известно и разведано, он должен был выбрать подходящую минуту. Он отбежал в сторону, навстречу ветру, чтобы не беспокоить ноздри лошади, следил из густого подлеска за тем, как человек в шапке лисьего меха и сам похожий на лису, с раскосыми глазами, с ружьём за спиной, проехал на подводе, сидя на мешках и упѐршись в передок телеги полусогнутыми ногами. Это бывало нечасто, человек возвращался на заимку с поклажей и был в это время нетрезв. Волк нѐсся большими прыжками по дороге, заслышав собачий лай, свернул в лес и появился с подветренной стороны. Дом в два окна с крыльчком, крытый щепою, стоял под отлогой вырубкой по другую сторону ручья, рядом сарай и поленица под навесом. Волк брезгливо поглядывал на четырёхлапое существо, которое бегало, беснуясь, вдоль проволоки взад и вперѐд от крыльца до сарая. Пѐс не видел гостя. Волк улѐгся в подлеске и ждал. Пѐс успокоился.

Солнце медленно опускалось в дымно-лиловые облака, это предвещало назавтра пасмурный день. Волк дремал и в то же время бодрствовал. Вдруг собака вскочила и залилась лаем на своём диалекте, который представлял собой испорченный язык волков. Собака предупреждала хозяина об опасности. Телега стояла перед домом, мужик удерживал дрожащую лошадь. Волк перебрался через ручей и стал на виду, поджав обрубок ноги. Человек вставил два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Собака рвалась с цепи. Волк поднял голову к темнеющим небесам и завыл, это было вступление.

«Здравствуй», — сказал он.

Человек ответил:

«Здорóво».

«Наконец-то мы увиделись».

«Цыц!» — прикрикнул хозяин, и пѐс взвизгнул, умолк, стал рыть передними лапами землю, заметался на проволоке.

«Вон там, — продолжал волк и кивнул в сторону леса, — лежит мой брат, птицы выклевали ему глаза, его тело издаёт зловоние. Он попался в железные клещи. Это твоя работа».

Человек не отвечал, вскинул ружьѐ.

«Бей, бей его!» — завизжал пѐс.

«Только попробуй», — сказал волк и широко открыл свои немигающие, глеющие синим огнём глаза. Оружие выпало из рук человека, но он не уступал, угрюмо, не отводя глаз, смотрел на зверя.

«И вот это, — сказал волк, — твоя работа», — и поднял культю. Человек усмехнулся. Волк чувствовал, как ярость пса, точно жаркое дыхание, обдаёт его на расстоянии пятнадцати прыжков; он понимал диалект собак, но собака с трудом разбирала благородную речь предков. Волк не удостоил её взглядом.

«Пусти её. Она ни в чём не виновата», — сказал он, показав кивком на лошадь. Мужик швырнул вожжи на телегу, и лошадь помчалась прочь, гремя и скрипя колёсами.

«Что же мне с тобой делать, — проговорил волк задумчиво. — Загрызть твоего раба? Раскидать крышу на твоей халупе, растерзать кур, убить поросёнка? — Он покачал головой. — Не стоит труда».

Человек не двинулся с места, стоял как вкопанный. Пёс, звеня цепочкой, пробежал несколько шагов взад и вперёд, пролаял: «Не спорь с ним, не спорь с ним!»

«Видишь, он даёт тебе хороший совет. Я поклялся тебе отомстить. И вот теперь... — он по-прежнему, не мигая, смотрел на своего обидчика, — теперь думаю, как бы это сделать так, — волк скрипнул зубами, — чтобы ты почувствовал».

Он хотел сказать: чтобы ты понял. Чтобы знал, насколько мы, наша раса, превосходим всех вас, да, при всей вашей хитрости, вашей изобретательности, при вашем умении истреблять всё что стоит на вашем пути; да, чтобы ты почувствовал, и тогда я буду знать, для чего я жил. Он хотел это сказать, но получилось бы слишком многоречиво, он привык выражаться кратко. «Становись на колени, — захрипел волк, — проси прощения, сволочь!»

Собака проскулила: «Не спорь, делай что он велит!» Мужик не шевелился. Волк повторил свою команду. Так они стояли друг против друга, и человек еле заметно покачал головой — то ли отказывался подчиниться, то ли удивлялся. Волчьи глаза потускнели, он обвёл скучным взором избу, подводу, остановившуюся невдалеке, охотника в лисьем треухе. Отбежав шагов на тридцать, зверь остановился и повернул голову. Мужик целился в него из ружья. Волк вздохнул и не спеша потрусил дальше. Эхо выстрела отозвалось в лесу.

Возвращение

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатление фантастических. На помощь пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчётливо каждое слово и не понимал ни слова. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиры просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали за что уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что значило возвращаться, куда? Ведь я и так возвращался .

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ни-

чего не изменилось за эти годы. Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. Незачем было тащиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — беззвучно спросила она. — Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыбнулась.

«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахнула на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели: «Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёлся, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормотал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-старому? Что значит

по-старому? Опять всё сначала: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было...»

О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменялось.

«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала.»

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас мне снишься?».

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраняют, это не Россия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я объяснил: нам бы только добраться до метро.

«До метро?»

«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает».

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» — пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться в голове. А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.

«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахнула халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года

назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал куда деться от тоски и горя. Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — Теперь всё поправили. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое впечатление, будто город исчёз. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! — кричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или минут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадёжности. Обстоятельства тут ни при

чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa!*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устаами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он

¹ Имена ненавистны (*лат.*).

поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут па-сёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

«Да ну?» — сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».

«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда пой-мёшь, хочет она или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет», — добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.

«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтаж-

ный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид нежилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в парчëвом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», — презрительно сказала я.

«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», — возразил я.

«Нет, вы это серьёзно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупился. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрепину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ты... йёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдце с полурасплюсненным пирожным.

«Сливки?» — осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне). Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» — сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблеме бытия?»

«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо итти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ась? Не слышу».

«На работу...»

«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».

«Одно другому не мешает».

«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забирая у меня пирожное. — Полиция дело десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожевал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научись... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения подаваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, — один раз поймаю — всё, ты у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? — крикнул он. — Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски. Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе.

«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.

«Гармония происходит оттуда, — он поднял кверху палец, — это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слыхал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», — сказал я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираешься? Один живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежеевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не выделяли меня среди

снующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к нижней половине среднего класса. Я как бы видел себя со стороны. Мои глаза приняли неопределённую окраску — это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные крыши перед статуей кондуктора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении

между бедрами и животом. Несколько времени погода я отправляюсь в кабинет Клим, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я — работой и зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непрекаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, чем реальности, и декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо Клим в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется такой очевид-

ной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несую околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шлягу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, приникнуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женскими и мужскими, — я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело происходит в полуподвальчике неподалёку от наших мест. За каким лешим, спрашивается, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на ты».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в цивильной одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжѣванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником монарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.

«Prost, малыш».

Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», — сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал».

«То, что вы слышали».

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утинового носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в мюллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Процветающее общество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот процелыга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил божоле по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал он, утирая рот салфеткой, — рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не пригласить ли её к нашему столу,

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутин, из этих оглобел; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Журналист?» — просипел профессор.

«Не то что бы, но вроде».

«А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Чем снится нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, запихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! — Дядя показал кулак. — Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», — сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патрио-

тизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», — сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем проституированном обществе... А вы, случайно, не представительница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, присоанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«Х-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запьянею».

Я осведомился о её спутнике.

¹ Знатность обязывает (*фр.*).

«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — пролепетал профессор.

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. Даже если он не воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся голосами, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».

«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на вы, профессор. — Он сказал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном пальто и в шляпе.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на корточки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марью Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».

«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. Потом произнёс с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»

«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», — сказал хозяин.

«К солёной маме! — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал он самодовольно.

В погребке зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщины, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручки, двинулся к нам.

Фраппирован был и мой друг профессор.

«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутанг схватил дядю за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду, коллега — известный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас разорит!» — кричал профессор. Никто уже не обращал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. — Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о другом. Революция нра-

вов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Маша Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продолжать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле делились где-то — ведь мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове — обманчивая мысль, — когда я сидел с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь остановилась бы и спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бежать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне *à l'aise*¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора удостоверения, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыхала дешёвая музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на

¹ Непринужденно (*фр.*).

свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком взобрались на последний этаж.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Марья Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослепляющая взора. Станным образом — я заметил это ещё в кафе — она не была даже накрашена. О её фигуре невозможно было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития.

Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартамент», состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потолка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Марья Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожала плечами.

«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Согласен, я вёл себя бестакно. Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра на работу», — проговорила она после некоторого молчания, не решаясь или не пожелав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. Я подлил ей и себе, она

не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы слегка ослабили поясок халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдернула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет...

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв рот, я озирался, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И из недр этой блаженной тишины до нас донёсся храп.

Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она осторожно, — не надо столько пить...»

Она добавила, опустив глаза:

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

Я сказал: «У тебя там кто-то есть».

«Она спит. Не обращайтесь внимания».

Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатуха; я принял её за кладовку. Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.

«Она не мешает».

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»

Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.

«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя.

«Тебе приходится бывать у женщин?»

«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»

«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.

Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иудейка на пороге шатра.

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам предлагают воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед остановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Всё смешалось, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью экипаж. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить что к чему, я вспомнил, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бу-

шевали пожары. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих корпусов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок проребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, — оказалось, что она нисколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал: «Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: или — или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отщепенца. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, прищурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она

не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть, его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, блестели орлы на фуражках, отсвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, поддержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водится, висел чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по ко-

тому словно прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подаяние перед церковью святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед окном, выходящим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завершается примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скупающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть оружие из невидимой кобуры под мышкой и пристрелить арестанта, — люди с такими лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то, чтобы вернуться».

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова побарабанил пальцами, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».

Что он имеет в виду?

«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следовательно, как и полагалось, перешёл на «ты»). А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж инструкций.

«Ты дурочку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — город с башнями и церквями, с широкими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени, взад-вперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою старую, большую мать и укатил за тридевять земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, который оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул большим пальцем через плечо. —

А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, итти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, присела на край кровати.

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, — сказал я. — Думаю».

«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»

«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы. Мои мысли были далеко.

«Я всё брошу», — проговорила она.

«Вот как».

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюрки».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.

«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбуджу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», — попросила она.

О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.

«Мы увидимся?»

«В чём дело?» — спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показалось. Я оглядел её, она запахнулась плотней, подтянула поясок халата.

«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что процент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость — прежде всего».

«Отваливай, говорю», — сказал я, растилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюститель закона.

«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», — отвечивал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальдемар. — Вот так лет двадцать походит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И паханá навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»

Я спросил, какого дела.

«Насчёт штофа, едрёна мать».

«Пробовал», — сказал я.

«Ну и как?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.

Он добавил:

«Цена обычная».

«Буду иметь в виду», — сказал я. Итак, это случилось вчера вечером. Пока мы лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.

«Давно?» — спросил я.

«Что давно?»

«Давно он там?»

«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его замещаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — воскликнул он.

«То есть как замещаю?»

«Очень просто. Тариф прежний — двадцать пять процентов. Порядок есть порядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Климу охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равенства, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызволением родины из оков деспотизма, мой коллега и работодатель не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорогой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клим. Он придавал этому знакомству большое значение. Pater familias, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса;

в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клим нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клим, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придадут большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб короля Генриха Птицелова или ясень Игтдрасил. На ветвях вместо птиц и животных висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл:

«Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомленность. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови.

Я не поспевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс переменял позу. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:

«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz?»¹

«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я плёлся следом за ней. Мы прошли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же поместительной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний».

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй».

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой».

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается».

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хозяйка, — что это советская песня».

«Советская власть гораздо старше, чем думают».

¹ Дорогая (нем.).

До нас донёлся голос Клима:

«Наши нивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хозяйка притворила дверь.

Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется.»

«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности.»

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостинной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», — заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдём-те, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришли по вкусу друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шляпу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель объяснил, что лучше

ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что проклятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, выпрыгнуть на ближайшей остановке.

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — проворчал я, — последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел треугольник для подтягивания. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завёрнутые в бумагу ампулы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: *pac in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест пространства — короткое вступление. И два волшебных женских голоса зашли:

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.

*Dum pendebat Filius*².

Немного погодя он сделал знак остановить музыку.

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил:

«Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И вообще. Я теперь пересмотрел свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говноедах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-нибудь в лапы...»

«А что эскулапы говорят?» — спросил Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

¹ На земле пир и в человеках благоволение.

² ...висел Сын (лат.).

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараясь».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загребаёт воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают».

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять.. Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».

«Кто говорит?»

«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольно с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал профессор, — и я не знаю, как его звали».

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Большой пробормотал:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».

«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».

«Да ведь ты, папаша, неверующий».

«Или студентом на теологический факультет».

«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»

«Что?» — нахмурился патрон.

«Я говорю, пока вы здесь, он...»

«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганные, мародёры, стоит мне только отлучиться!..»

«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно».

Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

XII

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, — сказал он. — Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», — сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, что отношения наши мало-помалу

достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом). Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонувшее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, — для Клим это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клима верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клима жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, — сказал я. — Привет».

Там молчали.

«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.

«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клим.

XIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла вовремя. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божолы — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на субтильную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», — сказал я.

Она подблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл Адажио си-минор, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распроштался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церковей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, там сказано иначе».

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» — проговорил я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована».

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на паперти?...»

«Света-Мария», — проговорил я.

«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это

была просто одна из ложных версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-где обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залапанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие прохожие растворились в сумерках, протрусил собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал неторопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квартиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, дул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платья, а где то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», — сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.

«Катя, — сказал я, — какой я идиот».

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?» — спросил я, и она снова кивнула.

«Это — они?» — прошептал я в ужасе.

Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завернутые в газету, достал со дна жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на доньшко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие та-туированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь оставаться, возразил я или, может быть, подумал.

Всё своим чередом, сказал он.

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделюсь. Одну ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катюха?»

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», — проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол.

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрав кверху морду, возле кровати.

«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

XV

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потребность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их выталкивает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Сверкающий столбик ртути в термометре столетий то опустится, то подскочит ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: именно в это время нас угрозило жить. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего

над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоровне: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужская причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувствовал, что тут примешивается что-то другое. Возможно, я просто жалел Машу. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала, если уж на то пошло — доказательством любви. А для меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слыхал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручишу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журнальчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пишете, небось тоже на американские деньги, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Какого Ильина?»

«Иван Александровича, профессора!»

«А», — сказал я.

«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К Маньке?»

«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».

«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье дело. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты — не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше похорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он погрозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант потёр палец о палец, — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.

XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-автоматов, спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церквей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин медным, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал мемуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлежность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на ты. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент — насилие... Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

Она сказала:

«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, — всё было уже известно, эта бестия отделалась царапинами... — дедушку срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил:

«По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schlöbchen, крошечный домик-замок в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».

Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла прийти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».

Блёклое голубоватое небо незаметно превратилось в серожемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной опушки. «Расскажите о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам в самом деле интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненадолго расстанемся. И слепые фиолетовые небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдаль — пелена облаков, или другие леса, или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»

«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. Я подставил руку сверху ладонью.

«Вы думаете, капает? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падайте в обморок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстравагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упади с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», — сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет?».

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет,

никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упреком. — Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».

«Значит, э...»

«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, — за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы завтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхохотаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ее голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — говорила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в ки-моно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось удивительное спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; лицо её выра-

жало полную безмятежность, уста произносили будничные незначущие слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, четырёхжды стучащая фраза наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался сначала неполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувствовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, понять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефонные переговоры, визиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильнее из России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвратимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интересует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается насовсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Конечно».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. Что нам здесь делать?»

«А что там делать?»

«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь — никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денюжки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал прикипяченный над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, — я испытывал облегчение.

XX

Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, наконец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от рутины, от этих оглобелей жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных прохожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

¹ резюмируя... (англ.).

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те ослепительно-солнечные дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным штабелем дров на дворе. Сложил крест-накрест сухие мелко распиленные поленья, между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решётку к очагу, я уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного шабли primeur. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Pax in terra et in hominibus benevolentia.*

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая дистанция отделяла от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной кроватью, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с отсветами огня на железном полу перед печкой. И снова — *pax in terra*, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви».

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на ступенях св. Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки огня — фаллические цветы — и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то происходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленицами, и за это время прошла вся жизнь, и жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сейчас мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоятельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосяй женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что в конце концов у меня есть собственная гордость, — её вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».

«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».

«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены».

«Причём тут большевики».

«Не понимаю».

«Её нет — одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, — сказал я с пола, — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непроизвольно начинаю на нём же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке среброголовую бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, с портретом бессмертной вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.

«Ах да, согласие... — Меня смерили длинным взглядом. — Я считаю, — внятно сказала она, — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отколупнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжется кипень. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!» — и она назвала меня по имени.

«Zum Wohl!»¹.

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?

Она покачала головой.

«Между прочим, — холод шампанского почувствовался в её голове, — отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не понимать, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

«Да».

«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

¹ На здоровье! (нем.).

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», — сказала она.

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фриivolности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Станный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регулярного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне всё это говоришь?»

«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование — штаны, балахон, древняя касторовая шляпа, к которой я питаю суеверную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похожих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, — сказал я, — сажу...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», — сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта.

На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хотелось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спиной ко мне, на постаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марью Фёдоровну, когда она опустила на скамью рядом со мной.

Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял из её рук аккуратно завёрнутый бутерброд, банку кока-колы, прочёл, жуя и прихлёбывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали дань с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, продолжал я, и тогда герцог велел разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в конце января, но народ запасается одеялами, во-

ровства здесь не бывает, кто-нибудь притащит жаровню, люди живут коммунаой. В крайнем случае, сказал я, можно переночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запираить двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревянные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порыжевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволакивали наверх и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для желающих воспользоваться двуспальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие и по собственной воле намеревался проститься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было зябко, пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой одежды; мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колыхающегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъезд, ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ничего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество — фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажётся над столом в оранжевом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов — было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас поправился, сказав, что приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду.

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай».

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготовлю? Я всё найду!» — крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдце».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» — я осёкся.

«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.

«Слава Богу», — пробормотал я.

Она проговорила:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».

«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, неубранными улицами, вечной толчеей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, — она кивнула на неубранную постель. — Я себе постелю на полу».

«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсопанная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своём родном языке, — я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. Странный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь». Чай остыл.

Прамати́рь

Mother o'mine, o, mother o'mine...¹

R. Kipling

«Я, — сказал рассказчик и отхлебнул из красивой фарфоровой чашки, — приветствовал идею нашего клуба, если можно его так назвать, с удовольствием слушал моих предшественниц, но теперь наступила моя очередь, и я испытываю некоторую растерянность.

Видите ли, всё это дела давно минувших дней... Я чувствую, что мне не уйти от необходимости быть откровенным, предельно откровенным, — как говорится, взялся за гуж! — а между тем предмет таков, что о нём, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопристойным литературным языком, от которого мы всё ещё не отвыкли здесь, вдали от России. Тема эта подпольная, тёмная...»

Он взял коржик из вазы и внимательно осмотрел его.

«Вдобавок от меня требуется, чтобы я не только припомнил и рассказал всё как было, но и вернулся, так сказать, в себя самого. В того мальчика, который остался там и живёт своей жизнью, хотя его давным-давно не существует. Вы знаете, как легко погрузиться в прошлое и как трудно, почти невозможно не притащить туда своё настоящее, а заодно и весь хлам, весь тяжкий опыт накопившейся жизни. Мы бредём в обнимку с памятью, но память морочит нас, и в сущности говоря, мы только и занимаемся тем, что стилизуем своё прошлое.

Мы с вами договорились, что будем рассказывать друг другу историю первой любви. Вечный сюжет... Спрашиваешь себя, что такого особенного в этих историях, в эпизоде, почти неизбежном в жизни каждого, почти всегда мимолётном, потому что, не правда ли, он не может, не должен иметь продолжение. Почему никакое событие времени не вонзается так глубоко, не становится частью души на все времена, как память первого увлечения? Я не говорю о той ранней поре перманентной влюблённости в каждое платьице, в каждый девический силуэт, о времени ожидания, когда книжки, кино, разговоры, сплетни, всё вокруг шепчет: а ты? когда же придёт твоя очередь? Речь идёт об оза-

¹ О мать моя... (Р. Киплинг. «Свет погас»).

рени, об ударе током. О том непонятном, свалившемся, как снег на голову, тайном и унижительном, но и возвысившем тебя над сверстниками, над всем окружающим... Кто-то заметил, что девочки не знают детства. Не решаюсь судить, так ли это, — впрочем, все подобные изречения принадлежат мужчинам, — но катастрофа, которую переживает подросток, та гибельная, как столкновение поездов, сшибка идеализма и действительности, я говорю о действительности пола, поистине неизвестна или почти неизвестна девочке, которая как-то естественно вживается в своё тело, для которой тело — в отличие от мальчика — никогда не бывает помехой. В каком-то смысле она всё уже знала заранее, не оттого, что прочла об этом в книжках или услышала от подруг, но оттого, что знание было заложено в ней самой, знание существовало в её теле, прежде чем окончательно дойти до сознания. То, что становится тягостным бременем для подростка, руки, которые он не знает куда девать, тело, которого он стыдится, — для девочки естественно и желанно, и без всяких усилий, без насилия над собой, словно дело идёт о чём-то само собой разумеющемся, с незнакомой мальчишкам суверенностью она вступает во владение полом, когда приходит пора. Или я неправ?

Что ещё важнее, девочки легче и раньше становятся социальными существами. О, я слишком понимаю, что на эту тему сказано и написано всё, что можно сказать или сочинить. Но вы никогда не решите, где кончается власть общества, традиционного воспитания, привычек, предрассудков и вступает в свои права природа; вы не сможете провести между ними границу. Вы скажете, что человек — общественное животное, половое созревание застаёт его уже вполне социализованным существом. Но сами эти условности, навязанные обществом, настолько могущественны, что трудно не заподозрить в них заговор желёз внутренней секреции. Отчего искусство девочек прыгать со скакалкой, которое, казалось, никогда им не надоедало, у мальчиков вызывало лишь презрение, отчего занятия, которым мы предавались с таким самозабвением, — филателия и шахматы, — были чужды девочкам, не вызывали у них ни малейшего интереса: оттого ли, что азарт собирательства и азарт единоборства были мужским приключением, мужской профессией, куда вход девчонкам был воспрещён? Со своей стороны я склонен думать, что равнодушие к этим увлечениям объяснялось всё той же ранней укоренённостью девочек в подлинной, реальной жизни: магия почтовых марок, война деревянных фигурок представлялись им пустым времяпровождением. Всё это было для них детством, покинутым детством, между тем как мальчишки всё ещё барахтались в нём.

Я плохо сплю по ночам или вижу неотвязные сны. Во сне я сознаю, что то, что мне снится, — сон. Я вижу себя подростком и вместе с тем сознаю, что я взрослый, состарившийся человек. Но это сознание как бы принадлежит не мне. Во сне, как это ни покажется странным, я переживаю истинную действительность, ибо моё “я” теряет над ней всякую власть. Делать нечего, — промолвил рассказчик, обводя глазами дамский кружок, — вообразите, что перед вами не рыхлый, обвисший, облыселый господин, давно уже разменявший, как сейчас говорят, свой полтинник, — а вот такое существо между двумя эпохами, детством и юностью, точнее, между четырнадцатью и пятнадцатью годами. Дело происходит — позвольте, в каком же это было году... Не важно.

Шахматы и марки, с них всё началось, ими закончилось, но об этом чуть позже; пока что мы ещё в царстве идиллии, в том возрасте, когда два стана предпочитают держаться на расстоянии друг от друга: девочки, которые уже перестали быть ими, и мальчики, которым хочется — сознают они это или нет — оставаться детьми. Шахматное воинство охраняет нас от вторжения действительности, заповедный сад филателии — наше убежище, где мы отсиживаемся, стараясь оттянуть неизбежное.

Всё свободное время мы предпочитали проводить во дворе. Москва тех лет, как вы помните, была городом узких кривых переулков, проходных дворов, где можно было, пробираясь между брандмауэрами, ныряя из одной подворотни в другую, вдруг очутиться на соседней улице, и там уже всё дышало враждой, и надо было глядеть в оба; там могли напасть из-за угла, налететь сзади, там встречала чужеземца сопливая сволочь с финками, там свирепствовал шовинизм дворов, там обыскивали в тёмных подъездах. Не Москва, город, полный коварства, а наш переулок и двор, защищённый воротами, были нашим отечеством. Двор был как все дворы, сумрачный и прохладный, с пожарными лестницами, с бельём на верёвках, привязанных к водосточным трубам; с трёх сторон глядели во двор окна коммунальных квартир; все жильцы знали друг друга, все воевали друг с другом, все жили общей жизнью. Четвёртая, кирпичная стена служила брандмауэром, и к ней было прислонено дощатое сооружение для снеготаялки. Во двор заглядывали старьёвщики, пожилые нищие, огненноглазые гадалки, слепой гитарист поднимал лицо к окнам, и сверху из форточек бросали ему монеты, завернутые в бумажку, по утрам раздавалась песня точильщика. За зиму во дворе вырастала гора снега, который свозили из переулка, летом солнце косо освещало кирпичный брандмауэр, и ставни окон верхнего этажа метали молнии; по двору носились, как угорелые, ку-

выркались на перекладинах пожарных лестниц, во дворе играли в фантики и обменивались марками. Был такой Юра Кищук по прозвищу Щука, малосимпатичная личность из соседнего дома. Замечали ли вы коварство некоторых букв? Почти все слова с шипящими заключают в себе угрозу: пожар, пещера, ущелье, да, пожалуй, и женщина. Так вот, был такой Кищук. Однажды он появился во дворе, держа под мышкой застёгнутую на крючки большую лакированную коробку.

Две рати выстроились друг против друга на жёлто-коричневом клетчатом паркете, два ряда пехотинцев, не умеющих отступать, позади королевская чета, генералы, и конная гвардия, и осадные башни на флангах. Звук боевого рога, похожий на автомобильный клаксон, огласил поле сражения, первым шагнул вперёд через два квадрата солдат в круглом шлеме и сошёл лицом к лицу с чёрным ландскнехтом. Ринулась галопом, обгоняя пешее воинство, кавалерия. Из-за живой стены солдат вылетел на своей колеснице полководец в юбке.

Нас окружили болельщики. Мы сидели на крыше сарая для снего-таялки, единственном месте, куда достигал тёплый занавес солнца. Солнце сверкало в окнах, и блестели высокие точёные фигуры на зелёных суконных подкладках. После старых, облупленных и обломанных шахмат, в которые мы резались целыми днями, шахматы, принадлежавшие Кищuku, излучали незнакомое благосостояние, источали запах свежего лака, если хотите, были символом классового превосходства, и мы все как-то смутно это чувствовали.

Тут обнаружилось, что размеры доски сказываются на искусстве игрока, — я начал катастрофически проигрывать. В этих изменчивых, явившихся из другого мира шахматах скрывалось какая-то подлость, они подыгрывали своему владельцу; они как будто давали вам понять, что вы не достойны играть в них. Шахматы могут жить собственной жизнью — этот сюжет фантастических рассказов заимствован у действительности. Серия более или менее вынужденных разменов отчасти поправила мои дела. Мне удалось, под азартное сопение и нетерпеливые возгласы зрителей, дотянуть до эндшпиля. Король, как известно, самая незащитная фигура, но когда армии больше нет, король сам обнажает шпагу.

Король выступил в последний безнадежный бой. На другой стороне доски уже торжествовали победу. Несколько раз, с нескрываемым злорадством, предлагали нам сдаться. Как вдруг, о, счастье. Пат! — вскричал я».

Рассказчик улыбнулся. «Памятуя о том, что и присутствующие были когда-то девочками, я поясню, что пат — это такая ситуация, когда вы не можете сделать ход, не подставив под удар короля, а раз вы не

можете ходить, то и противник не может; пат — это вынужденная ничья. Итак, представьте себе, победа у вас в кармане — и вдруг ничья. Раздосадованный Шука заявил, что я жульничал. Он стал показывать, как стояли фигуры, и теперь мне пришлось уличить его в жульничестве. «Нет, был пат!» — «Не было пата! Король стоял здесь». — «Нет, здесь!» — Ничего доказать было невозможно, он уже собирал свои шахматы. Мы спрыгнули с сарайчика. Он стоял, прижимая к себе доску, и оба мы толкали друг друга в грудь. Ребята были на моей стороне. Он бросился наутёк.

Ослеплённый ненавистью, я наткнулся на мокрую простыню, путался среди верёвок с бельём, это дало моему врагу возможность удрать со двора. Я выскочил из подворотни. Шука улепётывал к себе домой. Он добежал до парадного подъезда, мы неслись вверх по лестнице, на площадке третьего этажа я догнал его, он не успел захлопнуть дверь».

«Позвольте мне прерваться, — глядя в свою чашку, проговорил рассказчик, — я расскажу вам один сон. Чем дальше всё это уходит, тем, знаете ли, труднее отделить память о пережитом от воспоминаний о снах. Я вхожу в чью-то квартиру, передо мной большая прихожая, ни души. И вдруг мне навстречу выходит незнакомая женщина и спрашивает, что мне надо. Свет бьёт сзади из комнаты, я не могу различить её лицо. И хотя у меня к ней важное, неотложное дело, я не в силах произнести ни слова, какие-то звуки вырываются у меня из горла, словно хрип удавленника, и я просыпаюсь.

Этот Юра Кишук жил, как уже сказано, по соседству, но квартира не была похожа на нашу и вообще на квартиры в нашем доме. Наша квартира была битком набита жильцами. Мы, то есть я, младшая сестра, родители и какая-то приехавшая из дальнего края родственница, которая смутно припоминается мне, обретались в одной комнате, где каким-то образом помещались обеденный стол, шкаф, кровать, диван и даже пианино, на котором училась играть моя сестра. Хотя Кишук тоже проживал, судя по всему, в коммуналке, но она казалась совершенно безлюдной, и к тому же у них было нечто вроде квартиры в квартире. Мы все запросто ходили друг к другу в гости; Юра никогда никого не приглашал, так что всё это, собственно, только сейчас и выяснилось. Он пронёсся через прихожую и исчез в коридоре, я за ним, рванул дверь и очутился в комнате, которая показалась мне роскошной. Какие-то зеркала, шкафы, кресла, с потолка свисала тяжёлая люстра. Никого не было, я остановился, тяжело дыша, не зная что делать. Затем раздвинулась портьера, вышла дама в домашнем халате с небрежно завязанным поясом, со стоящими колтуном светлыми волосами, очевидно, это была мать Шуки. И больше, как ни странно, я ничего не помню — о чём меня

спрашивали и что я ответил. Впрочем, нет: она подвела меня к зеркалу и велела причесаться. Было сказано ещё несколько слов, дескать, ну вот, теперь совсем другое дело. Теперь можешь итти. И я ушёл.

После этого, если придерживаться хронологии, хотя это не лучший способ повествования, во всяком случае, отнюдь не обязательный, — после этого прошло, вероятно, две-три недели. Весна была уже в полном разгаре. До экзаменов (которые тогда назывались испытаниями) оставалось недолго, а там каникулы, которые я надеялся провести в городе, ибо ненавидел пионерский лагерь, куда меня собирались запихнуть родители. Две или три недели прошло после моего вторжения, и вот однажды я увидел в нашем переулке мать Юры Кищука, она шла в ярком весеннем платье, в туфлях на высоких каблуках, держа на руке лёгкое пальто, светловолосая и окружённая светом; я увидел её, и что-то случилось. Нет, не резвый Эрот пустил в меня стрелу, скорее это было так, словно один из малолетних бандитов, тех, которыми кишела окрестность, растянул свою рогатку и камень ударил меня в переносицу. Я остановился, парализованный страхом. Психолог-аналитик найдёт, вероятно, причину этого страха. Не знаю только, убедило бы меня его объяснение. Во всяком случае, для страха не было никакого повода. Не было — если не считать поводом открытие, поразившее меня, как гром: впервые в жизни я увидел, что женщина может быть красивой, что она может быть ослепительно красивой. Она приблизилась и спросила меня о чём-то. Я не мог ничего ответить. Она коснулась ладонью моей щеки, и мы разошлись.

Красота внушает страх, потому что предъявляет к окружающим непомерные требования. Красота унижает, уничтожает окружающих. Красота пугает и вызывает недоумение, ибо самим своим явлением обесценивает всё, что прежде имело вес. Сама же она существует неизвестно зачем. Казалось бы, природа устроила так, что красота должна возбуждать желание у самца. Но на самом деле красота окружает женщину кольцом, на которое подан ток высокого напряжения: коснёшься, и ты погиб.

Возможно, будет излишним сказать два слова об уровне моей осведомлённости в этих делах. В каких, собственно, делах? Я уже знал, как знали все дети моего возраста, чему предаются мужчина и женщина, оставшись наедине. Как у всех детей, это была формальная осведомлённость. Например, я никогда не мог видеть в моей сестрёнке, которую от всей души презирал, существо, представляющее интерес с некоторой специфической точки зрения. Мне это просто не приходило в голову. Семья помещалась в одной комнате, но родители щадили детей, я ничего не видел и не слышал. Их тайная жизнь меня не интере-

совала. Я и не чуял здесь никакой тайны. Вечно раздражённый отец, вечно озабоченная мама. Разговоры о ценах, очередях, соседях. Сестра принимала живейшее участие в маленьких домашних событиях, я же не только испытывал полнейшее безразличие к нашей семейной жизни, но и охотно его демонстрировал. Я не любил сидеть дома. Я думаю, что жестокий быт, вопреки обычным представлениям, не только не поощрял распутство, но, напротив, был условием репрессивной нравственности. Я даже не видел, чтобы мои родители когда-нибудь обменялись поцелуями. Тусклый быт запретил людям обниматься и целовать друг друга, запретил девочкам кокетничать с мужчинами, заново и с каким-то неожиданным для себя пафосом учредил мифологию благородного верха и постыдного низа; эта полицейская мифология попросту ставила вне закона нижнюю половину человеческого тела. Нравственность выследила секс, этого затаившегося врага, загнала его в тупик, вроде того как пограничники в тогдашних фильмах выслеживали диверсанта. Как газ в баллоне, сексуальность была сжата под давлением в тысячу атмосфер, и однажды баллон должен был взорваться.

Было ли у меня самого ощущение того, что я становлюсь мужчиной? Конечно. Были загадочные сны, тягостные пробуждения. Но физиология созревания, не правда ли, малоинтересный предмет. Я говорю о другом, о том, что обусловлено физиологией, но стремится её опровергнуть. Безуспешно, разумеется.

Не ждите от меня каких-нибудь откровений, всё, что можно сказать на эту тему, давно сказано. Хитрость в том, что каждому приходится начинать заново. Видите ли, в чём дело: тот, кто думает, что открытие, которое совершает ребёнок, — можно было бы сравнить его с утратой веры в Бога, если бы мы не жили в атеистическом обществе, — тот, кто думает, что разоблачение тайны пола и есть тот рубеж, за которым кончается детство, — ошибается: можно запомнить все слова и приблизительно знать, что они означают, и оставаться, как прежде, ребёнком. Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходится земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом.

Мне пришла в голову странная мысль помириться со Щукой. Теперь я знал, где он живёт, на каком этаже, в какой квартире, — и отправился к нему, волнуясь больше, чем полагалось бы в таких случаях. Даже в благоустроенных домах в те времена часто не было лифтов, я шёл по лестнице, марш за маршем, чем выше, тем всё неохотней, и

когда, наконец, оказался перед дверью с нужной цифрой и картонным плакатиком, мужество окончательно оставило меня. Едва успев нажать на звонок, я скатился вниз. Притаившись на площадке между маршами, я слышал, как дверь отворилась, подумала и захлопнулась. Снова, как будто меня волокли на канате, я поднялся по ступеням, снова прочёл: «Кишук — 1 раз» и протянул палец к пуговке. Звонок прозвенел за дверью, но теперь никто не спешил открывать. Я позвонил ещё раз, и ещё, с силой надавливая на кнопку, наконец, зашлёпали чьи-то шаги. Мрачная старуха выглянула из дверей.

Последовали расспросы, к кому да зачем, и вдруг совершилось то, что было в моём сне: мать Шуки вышла в коридор. На этот раз она показалась мне не такой ослепительной красавицей, может быть, оттого, что, как и в тот раз, когда я ворвался к ним, была одета небрежно; и я почувствовал облегчение. Чем-то она неуловимо напоминала Юрку. Я вновь очутился на пороге светлой комнаты с люстрой и зеркалами, с широко раздвинутой тяжёлой портьерой, за которой находилась другая комната, и солнечный день сиял в окнах.

«А Юры нет», — сказала она, точно проворковала, глубоким грудным голосом; оказалось, что Шука уехал к бабушке или ещё куда-то. «Что же ты стоишь, заходи... Только вот я забыла, — прибавила она, — как тебя зовут».

Когда вам, как равному, протягивают ладонь, это значит, что вам предлагают преодолеть расстояние возраста, пола и социального положения, но как только называют своё имя и отчество, все преграды воздвигаются вновь. По имени-отчеству полагалось называть учительниц. И вновь разница между подростком и взрослой женщиной, между неловким, непрошеным гостем и слегка удивлённой хозяйкой парализует вас и отнимает дар речи. Я вошёл — лучше сказать, повлёкся следом за ней, за её голосом, светлыми волосами, ленивыми шажками. Я чувствовал, что меня приглашают из вежливости. Ради вежливости задают абсолютно неинтересные вопросы, чем занимаются мои родители, какие у меня отметки, — она знала, что мы со Шукой учимся в параллельных классах. Но вы, очевидно, ждёте, — сказал рассказчик, — чтобы я подробнее описал её внешность, я попробую это сделать, хотя описанию моему, возможно, не следует доверять: ведь я видел скорее мной самим сотворённый образ, чем женщину, существующую на самом деле. Но что значит — на самом деле?

Сказать, что она была среднего или скорее невысокого роста, примерно такого же, как я, в меру полная, с покатыми плечами, — значит ничего не сказать: память хоть и способна воспроизвести конкретные реальные черты, но они ничего не добавляют к её облику, он существует

весь разом; её облик — это она сама. Эта женщина, Ольга Варфоломеевна, — так её звали, хотя сам я, помнится, никогда её так не называл, — явилась передо мной вся целиком. Мужчины, а тем более мальчики, вообще видят женщин целиком, по крайней мере в первое время знакомства. Конечно, я не забыл её внешность, наоборот, помню до последних подробностей, но в то же время моя память, а лучше сказать, всё моё существо сопротивляется этому анализу. Я не могу её описать, как описывают своих героинь романисты; я помню всё, но не нахожу подходящих слов. Я вижу её лицо в облаке светлых волос, вижу выражение её глаз, но мне трудно сказать, например, какого они были цвета: серо-голубые? Зелёные? В этот раз она была уже не на каблуках, а в пуховых домашних туфлях без задников, и я помню её узенькие пятки, когда она шла впереди меня в комнату за портьерой: желтовато-розовые пятки, из чего следует, что она была без чулок. В бледнорозовом байковом халате наподобие банного, она была подпоясана пояском, это делало её фигуру забавно неуклюжей и подчёркивало низкие бёдра.

Когда в следующий раз я пришёл, Ольга Варфоломеевна сама отворила мне парадную дверь. Юрка снова куда-то запропастился, но теперь это меня не удивило. Я как-то чувствовал, что не застану его. Я держал в руках книжку, которую она дала мне; она удивилась: ты так быстро прочёл? Понравилось? В большой комнате стоял резной книжный шкаф. Выбери сам, какая тебе нравится, сказала она. Я подошёл к шкафу и стал смотреть через стекло на тиснённые корешки; это были дореволюционные издания. Сейчас, думал я, она скажет, теперь можешь идти, и я уйду. Скажет: уходи, и я уйду. Я сидел, прижимая к себе две самые интересные книги, которые я когда-либо читал с тех пор. Ольга Варфоломеевна поместилась напротив, положив ногу на ногу. Она была всё в том же байковом халате и запахла полу, я заметил это движение, мне почудилось даже, что я увидел мелькнувшее на секунду круглое колено. Туфля висела на её ноге.

Она показывала мне семейный альбом. Мы сидели рядом. «Вот это, — говорила она, — мы с мужем в Симеизе. Юрки ещё не было. Он ещё только был запланирован. И тебя, конечно, тоже не существовало. Бывал ты когда-нибудь в Крыму? А вот здесь мы уже переселились в Москву. Раньше мы жили на Урале...» На некоторых photographиях её муж был в гимнастёрке с ремнём и портупеей, со шпалой в петлицах. Она — с причудливой причёской, с чёрными от помады губами, и он, на этот раз в галстукe, прижавшись головами друг к другу. Девочка с нелепыми бантами на голове, снова напомнившая мне Шуку, была тоже она. «А вот это... — говорила она задумчиво, глядя на какие-то совер-

шенно неизвестные физиономии, и вдруг рассмеялась: — Господи, а это откуда?» Снимок в овале изображал мужчину в цилиндре, в монокле, с бабочкой на шее, подбородок подпёрт набалдашником трости. «Это у меня был поклонник, — сказала она, — артист». Я спросил, куда же он делся. Она ответила: «Исчез!» Потом добавила: «Никуда не делся; женился, потом развёлся, почём я знаю... Ну вот, — сказала она, хлопывая альбом, — а теперь у меня появился новый поклонник!»

Я не нашёлся, что ответить, и даже не совсем понял, кого она имеет в виду; вернее, не понял, шутит ли она или это говорится всерьёз. Я ожидал, что она сейчас скажет: хорошего понемножку, посидели, теперь ступай; что-нибудь в этом роде. «Или я ошибаюсь?» — проговорила она, посмотрев сбоку на меня. «Нет, — самой себе ответила Ольга Варфоломеевна и слегка покачала головой, — нет, не ошибаюсь. Мальчик, — сказала она мягко, — а ты знаешь, сколько мне лет?..»

«Несколько раз, — продолжал рассказчик, — я встречал её на улице, она проходила мимо, не замечая меня, и я догадался, что она не желает больше меня видеть. Как вдруг однажды она вошла во двор, остановилась, очевидно, искала сына. «Не знаешь ли ты, — проговорила она рассеянно, не глядя на меня, — не знаешь ли ты... я места себе не нахожу». — «У них сегодня шесть уроков, — сказал я. — И классное собрание». — «В самом деле? — спросила она живо. Господи, — и всплеснула руками, — прямо из головы вон. А я-то уж всё на свете передумала, кругом хулиганье. Ну, спасибо тебе». Я чувствовал, что она хочет мне что-то сказать, и ждёт, чтобы я первым произнёс что-нибудь; но я словно набрал в рот воды. Она взглянула на меня, как мне показалось, несколько высокомерно, словно учительница, которая делает замечание ученику. «А ты почему не заходишь?» В этом вопросе как будто само собой подразумевалось, что меня зовут в гости не к Юре, а к ней.

Бывает, что какая-то мысль, и даже не мысль, а что-то ещё более мимолётное, короткое, как укол, мелькнёт, чтобы исчезнуть, и, однако, оставляет след, и этот след мысли, как уколотое место, не даёт покоя; так случается, когда во сне короткий всплеск сознания будит вас, и кажется, что через мгновение снова уснёшь, но сон уже не приходит. Так было и с нами.

«Ты на меня рассердился?» — спросила она, когда я вошёл следом за ней в большую комнату, полную ожидания. Это было на другой день. Пятна света дрожали на паркетном полу, темноло, как омут, овальное зеркало — в этой квартире было много зеркал, — и в нём стояли, наклонясь, книжки в золочёных переплётках, шевелились тюлевые гардины. Голоса доносились снизу из синева и прохлада нашего переуллка, там жил своей жизнью старый квартал, и май был в самом начале,

и сушилось бельё во дворах, и на крыше сарая со снеготаялкой сидели ребята, и девчонки прыгали через верёвочку. А здесь обитала она в роскошном заточенье, и звуки улицы едва достигали её слуха. Я спросил на всякий случай, а где же... «У бабушки», — ответила она коротко.

Не было больше разговора ни о книжках, ни о фотографиях, наступило молчание, она встала и подошла к зеркалу, я видел её со спины и видел её лицо в провале блестящего стекла. Но глаза, большие и потемневшие, смотрели не на меня, её глаза пожирали пространство. Что же это мы делаем, пробормотала она, как в бреду. Видит Бог, я этого не хотела. Ох, не хотела... Солнечные пятна на полу померкли, должно быть, за окнами, низко над городом проплывали облака.

Я не могу вдаваться в подробности, вы чувствуете, что мы приблизились к запретной, загороженной зоне. Можно предположить, что в начале нашего знакомства Ольга Варфоломеевна разрешила себе затеять со мной маленькую игру. Немое обожание подростка может быть не менее лестным, чем ухаживание взрослого. Но теперь это была уже не игра. Да, — сказал рассказчик, обведя взглядом маленькое общество, — мы приблизились к зоне, окружённой рядами колючей проволоки, обставленной заградительными щитами. Их назначение — внушать священный страх. Непристойное — это обратная сторона сакрального, священное становится непристойным, когда о нём говорят вслух. И так будет всегда, несмотря на все попытки расколдовать демона и всевозможные сексуальные революции... У нас нет языка, чтобы выразить то, что мы хотели бы выразить; у нас есть много языков, все они неудовлетворительны. О сексе можно говорить разве только языком мифа, но проклятье нашего века, нашего воспитания или, может быть, проклятье всей нашей цивилизации состоит в том, что мы воспринимаем миф всего лишь как иносказание. Она всё ещё стояла перед зеркалом, смотрела на себя и на меня, и я видел, как шевелятся её губы. Это судьба, бормотала она, ты веришь в судьбу?

Обыкновенно считается, что недоросля снедает любопытство. Ничего подобного — я испытывал только страх и смятение. Больше не было учительницы и провинившегося ученика, взрослой женщины и ребёнка, перед которым впервые приоткрылось то, что ему ещё не полагается знать. Всё, что меня защищало, держало, словно на помочах, мои родители, школа, двор, игры, рачьа скорлупа жизни — детство, из которого я рвался изо всех сил и с которым так страшно было расставаться, — всё отлетело, рассыпалось, я остался один, словно вытолкнутый за ворота уютной тюрьмы, лицом к лицу с нею и с тем, что она назвала судьбой. Мы были одни, мы были мужчиной и женщиной, больше никем.

Она... я говорю: она, ибо мы лишились имён. Она медлила, пальцы тербели поясok халата, и лицо, серое, как ртуть, с огромными глазами, с приоткрывшимся ртом, следило за мной из зеркала. Оттого, что оно было слегка наклонено, я видел её почти всю, и казалось, что она смотрит на меня исподлобья. Может быть, она ждала, что я опомнюсь и убегу. Её пальцы развязывали что-то там, развели в стороны, я увидел её тёмно-розовые соски, обведённые кружками, увидел живот и тенистую складку, похожую на букву игрек. О, я знаю, вы подумали — зрелая женщина соблазнила подростка. Но с таким же правом можно сказать, что я был её невольным соблазном. На самом деле это было что-то другое, превратившее нас в сомнамбул. лишившее воли и меня, и её, а вернее сказать — внушившее нам неукротимую волю. Всё это — там, перед зеркалом — продолжалось одно мгновение; она запахнула халат. Лицо её приняло решительное выражение, она подошла ко мне и быстро поцеловала меня, словно мне предстояла опасная операция. И я поплёлся за ней в другую комнату, оказывается, там была ещё одна комната. Чем-то одуряющим пахло в этом покое; она сидела на краю кровати, необыкновенно широкой, занимавшей всё место, а я стоял перед ней, словно рекрут, и она расстёгивала и снимала с меня мою одежду. И вот на этой кровати, представьте себе, — сказал рассказчик, — произошла со мной позорная и комическая история. Смейтесь: я потерял сознание.

Да — упал в обморок, если можно сказать так о человеке, который и без того лежит; лишился чувств, но не от физического потрясения, — мне кажется, я вообще ничего не испытал, — а от волнения, к которому, может быть, присоединился запах духов. Очнувшись, я почувствовал холод на висках, она тёрла меня одеколоном. Светлые ароматные волосы щекотали меня, я отстранился. «Жив?» — спросила она. Я молчал. «Ничего, это бывает», — сказала она. Она встала и слегка раздёрнула гардины большого окна. На ней ничего не было. Я старался не глядеть на неё. «Что бывает?» — спросил я тупо. Никогда в жизни я не испытывал такого унижения.

«Первый блин комом!» — сказала она. В довершение моего стыда она тщательно вытерла — на мне и на себе — липкое и неприятное, то, что из меня вылилось. Она гладила и утешала меня, как маленького. Она прилегла ко мне. Я отвернулся от неё чуть ли не с ненавистью. В глазах у меня стояли слёзы. Тут я вдруг сообразил, словно только сейчас заметил, что мы лежим под простыней, за окном белое, как вата, небо, и какая-то опасная тишина стоит в квартире. Страшная мысль прилипла к моим губам: а Щука? А если... Что мы тогда будем делать? Но она словно и не помышляла об этом.

Как будто мы стали невидимы, — и знаете, мне ведь в самом деле предстояло сделаться невидимкой, как в известном романе, — пока кто-то не увидел следы на снегу...

«Что будем делать, — рассеянно проговорила она, угадав мой вопрос, — да ничего не будем делать! Сейчас с тобой встанем и выпьем чаю. Только ты должен отвернуться... Выпьем чайку, — сказала она, — и ты пойдёшь. Тебе пора делать уроки». Я сердито возразил: «Нам уже ничего не задают». — «Ах да, — сказала Ольга Варфоломеевна, — я совсем забыла; но тебе надо готовиться к экзаменам». Мы лежали, накрытые до подбородка. «Я вот всё время думаю, — сказала она, — ты понимаешь, чем мы с тобой тут занимались? Ты несовершеннолетний, а я... Ты пойдёшь домой, и мы забудем эту историю, договорились? Мы с тобой зашли слишком далеко, ни к чему хорошему это не приведёт. Ты меня понял? Ты сюда не приходил, и ничего между нами не было. И вообще ты меня не знаешь. Договорились? Ну вот. А теперь отвернись, мне надо одеться». Я молчал, и она молчала.

Потом она спросила: «Это вы его так называете? Не волнуйся: Юра приедет завтра, он у бабушки. Она его очень любит». — «А ты?» — спросил я. «Что я?» — «Ты его тоже любишь?» Она пожала плечами. «Я его мать. Разве твоя мама тебя не любит?» Усмехнувшись, она добавила: «Ты что, ревнуешь? Не беспокойся, это совсем другое. А по-настоящему я люблю только тебя. Это ужасно, это чудовищно, — сказала она, смеясь, — но я люблю только тебя. Но теперь это уже не имеет значения». — «И я тебя тоже», — сказал я. Она улыбнулась и ответила: «Я знаю. Я это знала с самого начала». Мне стало как-то легче. Я хотел спросить: а...? — и запнулся. Я не знал, как назвать этого человека. «Ты про моего мужа? — спросила она. — Он придёт поздно... на рассвете. И будет потом спать до часу дня. Дождь собирается, проговорила она. А утро было такое ясное, ни облачка... Нет, это не любовь, это тебе только кажется. Ты влюблён, мальчики часто влюбляются во взрослых женщин. Это пройдёт. А вот я тебя действительно люблю. Тебе это кажется странным?»

Она поцеловала меня. «Если хочешь, — сказала она осторожно, — мы можем попробовать ещё раз. Только это будет последний раз, слышишь? — Она ровно, медленно поглаживала меня. — И расстанемся... Ложись ко мне ближе, вот так... Не торопись. У нас ещё уйма времени... Сейчас пойдёт дождь; видишь, как стемнело... Только не торопись. Медленно. Мой единственный».

Рассказчик обвёл глазами слушательниц.

«И, представьте себе, всё как-то получилось очень хорошо. Вас, должно быть, удивляет, что я так уверенно воспроизвожу все слова,

все... частности, вас это удивляет: ведь мысль и память исчезают в эти мгновения, вроде того как у тонущего лёгкие заливаются водой. Пожалуй, это сравнение можно продолжить. Нашу кровать можно было сравнить с кораблём в океане. За окном всё сверкало и гроыхало, крупный дождь стучал в стекло.

Оттого ли, что это было во второй раз, или благодаря изумительному такту моей подруги, наше соединение совершилось просто и естественно, за исключением разве что последних мгновений полного сумасшествия, так что сейчас мне трудно решить, а тогда тем более невозможно было понять, осталась ли она удовлетворена мною или всё её умение сосредоточилось лишь на том, чтобы дать мне почувствовать себя женщиной. В одном фрагменте Новалиса, если не ошибаюсь, говорится о том, что любовная встреча есть одновременно физическое нисхождение по ступеням чувственности вплоть до оргазма и восхождение по лестнице духа, до экстаза.

Понемногу я пришёл в себя; всё изменилось; я начал ориентироваться в новом для меня мире. Это был мир нежности и восхищения. Я стал различать подробности в том, что оведало меня ветром волос, и обволакивало, и обнимало белыми, мягкими руками. Я увидел то, что предстало моим глазам без всяких уловок, с бесхитростной очевидностью, но требовало нового зрения; теперь я прозрел. Я открывал это тело, как ребёнок открывает книжку с картинками, или как человек, разбирающий текст на чужом, всё ещё непонятном и восхитительном языке. Похоже, ей не было неприятно моё любопытство; она находила его забавным и позволяла мне разглядывать себя со снисходительной улыбкой, уверенная в себе, как богиня. Меня поразила узость её талии, её просторные круглые бёдра, мне захотелось обнять их, зарыться в них головой, и... не могу скрыть от вас совсем уже дикую мысль, мелькнувшую за кулисами разума, — что эта расщеплённая раковина могла бы произвести на свет и меня. Мысль, возможно, и не такую уж абсурдную. В каком-то смысле так оно и было.

Она потихоньку выпроводила меня, и с этого дня мы стали встречаться. Иногда мне открывала дверь злобная старуха, которая, может быть, ничего плохого и не замышляла; во всяком случае, мне больше не задавали вопросов, поворачивались и молча шлёпали в свою каморку, и в ту же минуту я забывал о ней, я почти бежал по коридору, отворял дверь, не стучась, и мы бросались друг к другу в таком нетерпении, что иногда это происходило тут же, в первой комнате на полу. И никто не знал об этих свиданиях, кроме таинственно-мрачной бабуси, — кто она была, нянька, родственница или просто соседка, не знаю. Однажды, когда я сбегал, прыгая через ступеньку и громко на-

свистывая, вниз по лестнице, я столкнулся нос к носу со Шукой, он шёл навстречу и как-то странно сузил глаза, или мне показалось, — мы не произнесли ни слова, я выскочил из подъезда. Я тотчас позабыл об этой встрече, возможно, она в самом деле не имела значения. Ничто больше не имело значения.

Учебный год кончился, мои родители ни о чём не подозревали, и для них было полной неожиданностью, когда, вернувшись домой после первого испытания, в белой парадной рубашке с отложным воротом и свежевыглаженном пионерском галстуке, я объявил, что срезался. Получил переэкзаменовку на осень. Моя мама расплакалась, сестра уставилась на меня круглыми глазами. Отец ничего не сказал и лишь завесился густыми бровями, как делал при каждом новом ударе судьбы. Но совершилось чудо. Я даже толком не знал, что именно произошло, да и какое мне было дело до подробностей, школа интересовала меня как прошлогодний снег. Ольга Варфоломеевна пришла мне на помощь, чувствуя себя, как она мне призналась, виноватой; выяснилось, что у моей возлюбленной есть «кое-какие связи»; на кого-то нажали, чуть ли не на самого директора, и отношение ко мне внезапно переменялось. Мне разрешили пересдать экзамен теперь же, по окончании испытаний, кое-как я свалил с себя это бремя. Другая беда, по-настоящему грозная, о которой я сейчас расскажу, стряслась со мной, с нами: гром грянул среди ясного неба.

Конечно, это должно было рано или поздно случиться. Следы человека-невидимки, отпечатки голых ступней бежали по снегу! Если вы видели фильм, который шёл в эти годы в Москве, вам должен был запомниться этот кадр. Но ещё прежде что-то начало меняться в Ольге Варфоломеевне. Она стала раздражительной, суетливой, то и дело теряла что-то, придиралась ко мне по всякому поводу. Я был виноват, что долго не приходил, виноват, что пришёл слишком рано. Из-за меня она опаздывала куда-то, залила новое платье какой-то дрянью, из-за меня — чему я охотно верю — не ладила со своим таинственным мужем. Словом, я был причиной всех неудач, я принёс несчастье в её мирный дом. Какой же он мирный, возражал я. Не смей так говорить, кричала она, что ты в этом понимаешь! Она отдавалась мне с какой-то судорожностью, она, такая разумная, стояла и торопила меня, эта судорожность передалась и мне, и потом, когда мы в изнеможении отстранялись друг от друга, я думал, что больше не появлюсь. Мне казалось, что наши свидания перестали приносить ей радость.

Как-то раз она предложила поехать на дачу. — «К вам, на дачу?» — «Не к нам, в другое место». Я спросил: что-нибудь случилось,

кто-нибудь нас увидел? «Ничего не случилось, погуляем, подышим свежим воздухом. А на другой день ты вернёшься». — «А ты?» — «Ты вернёшься, а я останусь».

Я понял, что расспрашивать её бесполезно; я сказал дома, что в школе устраивается поход с ночёвкой, это звучало малоправдоподобно, ведь занятия уже окончились, но ничего лучшего я не мог придумать; мама приготовила мне бутерброды, я напялил на плечи старый брезентовый рюкзак. Ольга ждала меня возле касс Белорусского вокзала. Мы высадились на остановке Перхушково, долго шли лесом, полем, это были в то время места дивной красоты. Дача находилась на краю посёлка, невзрачный домишко, может быть, предназначенный для obsługi. Кругом ни души. Местность, о чём я, разумеется, не знал, представляла собой некую закрытую зону.

Поздним вечером мы долго сидели на ступеньках крыльца, на другой день поздно встали и отправились на станцию, было уже около двенадцати. Подошёл поезд, она обняла меня, я стоял в дверях вагона, она оглядывалась, мы не знали, что сказать на прощанье друг другу. Раздался свисток дежурного, она бросилась ко мне. Мы сидели у окна в полупустом вагоне, и вот вошла женщина, пожилая цыганка, босая, высохшая, как абрикосовая косточка, в шёлковом обтрёпанном платке, съезжавшем с её конских смоляных волос; вошла и уселась возле Ольги Варфоломеевны. Явились карты, последовало предложение погадать. Вон ему погадай, возразила Ольга. Старуха отёрла щербатый рот ладонью и спросила: «А он кто тебе будет?» — «Сын». — «Ой, врешь, тётка. Неправду говоришь; какой он тебе сын?.. Не бойсь, — сказала цыганка, понизив голос, — нас никто не слышит». — «Чего мне бояться,» — сказала Ольга Варфоломеевна. «А небось сама знаешь. О-ох, вижу, вижу вас обоих наскрозь». — «Пошла отсюда вон», — сказала Ольга Варфоломеевна. «Зачем ругаться; я тебе лучше кой-что скажу. Бросит он тебя. Вишь какой он молоденький. А ты старая. Я заговор знаю. Так заговорю, что присохнет он к тебе навеки. Привяжешь его крепче всех цепей». — «Пошла вон, ведьма!» — закричала Ольга, плача от гнева. И мы оба выбежали из вагона. Это был какой-то полустанок, мы озирались, мы не знали куда нам деться.

Но я собирался вам рассказать о более важном событии. Я сказал, что гром ударил с ясного неба: случилось это в нашем старом дворе. После войны, я имею в виду Мировую войну, которая тогда ещё не называлась первой, Германия потеряла свои колонии, Юго-Западную Африку, Камерун, Того и все остальные, и, как гласила филателистическая молва, последние колониальные марки были выпущены в траурных рамках.. Но это была не молва и не легенда: с гордостью могу ска-

зять, что я единственный в классе и во дворе обладал этой серией. Филателия была великим приключением нашего детства. До сих пор для меня остаётся загадкой, каким образом, живя в закрытой стране, мы умудрялись владеть почтовыми марками далёких экзотических стран и островов, о которых даже не упоминалось в учебнике географии. Ещё не все ребята успели разъехаться на каникулы. Щука был в городе. Щука вынес во двор свою коллекцию. Можно было залюбоваться его альбомом: в твёрдом переплёте с тиснением, с толстыми разграфлёнными страницами, с гербами давно не существующих княжеств и королевств. Роскошный дореволюционный альбом, слегка обтрёпанный, вероятно, реквизируемый у кого-нибудь из тех, кто бесследно исчезал в те годы. Само собой, с ним не шли ни в какое сравнение наши купленные в писчебумажном магазине альбомчики «для рисования».

Щука предложил меняться. Он давно уже зарился на мои колонии. Предлагались очень неплохие вещи: Ватикан с золотыми ключиками и тиарой и кое-что впридачу. Началось с обычной торговли, он набавлял цену, я упирался; мне вообще не хотелось меняться. Началось мирно, а закончилось не то чтобы обычной ссорой, как тогда с шахматами, но гораздо хуже. «Ну что ж, — проговорил он со зловещим спокойствием, — не хочешь — как хочешь. Дай-ка мне ещё разок посмотреть».

«Чего смотреть-то», — сказал я. «Ну дай», — лениво сказал Щука. И, не дожидаясь разрешения, вытянул кончиком пальца мои марки из кармашка, — мы приклеивали длинные кармашки из прозрачной бумаги к альбомным листам. Он положил марки на ладонь. «Красивые», — сказал он. «Ты! — сказал я, обеспокоенный, — положи назад». В ответ он засмеялся и ссыпал марки себе в альбом. «Ах ты, гад», — вскричал я. «Чего?» — спросил он, прищурившись. «Щука, — сказал я. — Верни по-хорошему». — «А ты как меня назвал?» — спросил он. «Верни марки», — сказал я. «Нет, ты повтори». — «Чего повторить?» — «Повтори, что ты сейчас сказал. Извинись!» И он свирепо взглянул на меня. «За что это я буду извиняться, — сказал я презрительно, — он мои марки закилил, а я ещё должен извиняться».

Он огляделся и, хотя мы стояли почти вплотную друг к другу, поманил меня пальцем. «Если ты, — сказал он тоном заговорщика, — будешь пасть свою раскрывать, паскудина, гнида вонючая, знаешь, что я с тобой сделаю?» Он выдержал паузу. «Всё расскажу отцу, понял?» — «Чего это ты расскажешь?» — спросил я оторопев. «Сам знаешь что», — ответил он. «Ничего я не знаю», — сказал я. «А кто у меня папаша, знаешь?» — «Ну, знаю», — сказал я. «А теперь проси у меня прощения. Скажи: Щука, прости меня». — Я пробормотал что-то. — «Прости,

я больше не буду». — «Больше не буду, — сказал я. «Честное пионерское». Я дал честное пионерское. «То-то же, — сказал Щука, — я человек строгий, но справедливый. Даю тебе за твои колонии Испанию с королём и римским папой». — «И всё?» — спросил я. «А что, мало, что ли? Ах ты, змеёныш. Ладно, — сказал он, — даю в придачу Уругвайчик. Чтоб ты знал, что я человек справедливый».

Я думаю, что он ничего не знал, разве только заподозрел что-то. Неделя прошла или около того, Щука не появлялся — очевидно, отбыл на дачу или куда там его вывозили на лето, чему я был рад и не рад, ведь это могло означать, что мы расстаёмся с ней на три месяца. Как вдруг однажды я увидел Ольгу Варфоломеевну: она стояла между створами ворот, солнце било ей в спину, я не различал её лицо, видел лишь тёмную фигуру и огненный нимб волос. Мне показалось, что она поманила меня. Я выскочил из двора в переулок. Её не было. То, что меня поманило, было видением. Несколько минут спустя я увидел её снова, она шла по противоположной стороне, и вновь меня поразила красота её бёдер, узких покатых плеч, красота походки и лёгкого, в каких-то экзотических цветах платья, порхавшего вокруг ног. Она шла в сторону Харитоньевского переулка ровным крупным шагом, не спеша и не оборачиваясь, держа под мышкой сумочку-ридикюль, свернула направо, мы поровнялись около школы, выстроенной на месте церкви, которую я ещё помню; говорили, что в ней венчался Пушкин. И хотя это было неправдой, всё равно было известно, что в этой церкви венчался Пушкин.

Она не заметила меня, не повернула головы и не ускорила шаг, и произнесла: Иди вперёд, я тебя догоню. Я пересёк трамвайный путь и вышел через вертушку на бульвар. Места, возможно, памятные и вам, — я помню их так, словно вчера там побывал. Чистые Пруды в то время были много чище и во всяком случае просторней. Буйно зеленеющие деревья, газоны с жёлтыми и лиловыми цветами, песочный круг, по которому ходил по воскресным дням верблюд, карусели, продавцы мороженого. Всё это ещё существовало в те далёкие времена. И она купила мне круглое мороженое между двумя вафлями, на которых было выдавлено имя Ольга, самое большое, за восемьдесят копеек.

«Я хочу тебе кое-что сказать, — промолвила она, называя меня так, как только она меня называла. С тех пор никто не звал меня этим именем, и оно так и осталось нашим секретом. — Я должна тебе кое-что сказать...» — «Я тоже,» — быстро сказал я.. И сейчас же пожалел, что проговорился: зачем надо было ей рассказывать? «Что тоже?» — спросила она. «Ты не бойся, — сказал я, — это всё ерунда, он меня просто разыгрывает». — «Может, мы сядем? — сказала Ольга Варфоломеевна, и мы уселись рядом на скамейке. — Кто тебя разыгрывает?» — «Нет,

сначала ты скажи». — «Скажи мне, потом я тебе скажу». — «Он знает», — сказал я. «Кто?» — «Щука. То есть он не говорил прямо, а намекнул». И мне пришлось рассказать об инциденте с траурными колониями. «Это ерунда, — добавил я. — Это он просто меня запугивает. А сам ничего не знает». — «Ты так думаешь?» — спросила она задумчиво. Она взглянула на меня и сказала: «Ты перепачкался. Нельзя быть таким неаккуратным». Она отколупнула свою крохотную сумочку и вытерла душистым платком капли мороженого на моей рубашке. Потом утёрла мне щеки, точно я был маленький; я брезгливо отстранился. «Что он тебе сказал? — спросила она. — Постарайся вспомнить». Я возразил, что ни о чём таком Щука впрямую не говорил, лишнее доказательство, что он ничего толком не знает, только пригрозил, что если я буду раскрывать пасть, то он всё расскажет папаше. «Знаешь что, — сказал я. — Давай уедем».

«Давай уедем, далеко, где нас никто не найдёт. Давай, — сказал я вдохновенно, — махнём куда-нибудь на Урал, или в Сибирь, или ещё куда-нибудь!» Ольга Варфоломеевна внимательно слушала меня и кивала с очень серьёзным видом. «Я всё обдумал, — продолжал я, — главное, никому ни слова. Ты возьмёшь с собой самое необходимое. Мы встречаемся на вокзале. Я родителям тоже ничего не скажу». — «Но они подумают, что с тобой что-то случилось, они будут страшно волноваться», — возразила она. «Мы им напишем с дороги. Или дадим телеграмму. Я сам напишу. Я скажу, чтобы они меня не искали». — «А где ты возьмёшь деньги на билет?» — «Ты мне дашь. В долг, — сказал я. — А потом, когда мы приедем, я тебе отдам». — «Ты мне отдашь... угу. — Она всё кивала головой. — Глупый, — сказала она. — Куда же мы уедем. Нас найдут везде». Я взглянул на неё и понял, что ни одного моего слова она не принимает всерьёз. «Всё ясно, — прошипел я. — Ты меня не любишь, так бы и сказала! Я для тебя просто игрушка, поиграла и фить! Ты надо мной смеёшься, всегда смеялась...» Я стиснул зубы. Мне хотелось её придушить. Она усмехнулась. «Я? — спросила она. Тебя не люблю? — Несколько времени она всматривалась во что-то вдали. — Ты даже не знаешь, ты не можешь себе вообразить, — пробормотала она, — что ты для меня значишь. Я всё тебе отдала. У меня ничего не осталось... Ничего кроме тебя. Всё остальное превратилось в дым, в фантом. Ты не смеешь судить об этом».

Теперь я видел, что она тоже рассердилась не на шутку, нахмурилась и поджала губы. «Что ты можешь знать, — сказала она, — что ты можешь вообще об этом знать, молокосос!»

Худшего оскорбления невозможно было придумать. Мы сидели и смотрели в разные стороны. Ещё немного, я бы встал и ушёл. И больше

она никогда бы меня не видала. Она пробормотала: «Значит, он так сказал. Ты уверен, что он именно так и сказал — расскажу отцу?» Я пожал плечами. Знаю ли я, спросила она, где работает её муж? «Конечно, знаю, — сказал я. — Он охранник фараона». — «Кто это сказал?» — спросила она с изумлением. «Мой папа», — сказал я. Разумеется, я не знал, что имелся в виду Потифар, начальник фараоновых телохранителей. Так же как ей вряд ли было известно, кто такой Иосиф Прекрасный. «Скажи твоему папе, — жёстко сказала она, — чтобы он попридержал язык!» Помолчав, она добавила: «Ты, кажется, не совсем себе представляешь, что это такое. Ты знаешь, что он с тобой может сделать? С тобой, с твоими родителями, с сестрёнкой? И со мной, конечно... Если бы ты был старше, я могла бы тебе кое-что рассказать...» Я засопел: опять она попрекнула меня моим возрастом! «Не сердись, — мягко сказала она и назвала меня снова тем именем, навсегда ушедшим вместе с ней. Она взяла меня за руку. — Я могу тебя поздравить, ты теперь стал настоящим мужчиной». — «Да?» — сказал я удивлённо. «Да. Я тебе хотела сказать. Ты стал отцом». — «Как это?» — спросил я. Она пожалала плечами. «Очень просто. Я беременна».

Я как-то не сразу сообразил, в чём дело, и довольно глупо возразил: «А причём тут я?» Она ответила, усмехнувшись: «Хорошо было бы, если бы ты был ни при чём. Только видишь ли. Я с моим мужем давно не живу. Я не сплю с ним. Он приходит на рассвете и валится, как мёртвый, такая работа. Ты — мой муж!» — сказала Ольга Варфоломеевна и весело рассмеялась».

Рассказчик продолжал:

«Где-то теперь гуляет мой сын. Годы стёрли разницу в возрасте, да и велика ли была разница? Теперь мы почти ровесники. Где-то живёт мой отпрыск по фамилии Кишук, моя кровь, — или, может быть, это дочь? Вероятно, Ольга Варфоломеевна приняла меры к тому, чтобы у супруга не возникло подозрений, — женщины всегда находят выход. Так что ни дочь, если это дочь, ни официальный отец не подозревают о моём существовании. Если, конечно, он остался жив, а не угодил — что вполне возможно — в собственную мясорубку.

Юра, надо полагать, пошёл по стопам папаша. Очень может быть, что сейчас он в высоких чинах. Хотя он-то, наверное, понял, — если он в самом деле был так догадлив, — что я его отчим. Но могло случиться другое. Вспомните, что это было за время. Крысы начали пожирать друг друга... И если это случилось, если муж был арестован, жену должны были отправить в лагерь, а вот дети — тут-то, может быть, и пригодилось бы моему сыну или дочке чужое отцовство. Жива ли ещё Ольга Варфоломеевна? Она не показывалась, я не знал куда себя деть,

наотрез, ценой ужасного скандала отказался ехать в пионерлагерь, слонялся по пустому двору, жарил на крыше, куда можно было забраться по пожарной лестнице. И все время думал об Ольге. Я не знал, в городе ли она, не выдержал и отправился к ней. Отлично помню, как я поднимался по лестнице, не зная, что я скажу ей, что скажу Шуке, если вдруг он окажется дома. Мне открыла соседка. Дверь была на цепочке. Обыкновенно меня впускали без разговоров. На этот раз старуха спросила: «Ты к кому?» Я сказал, к Юре. «Нету здесь никакого Юры», — ответила она и хотела захлопнуть дверь. «Я к Кишукам», — сказал я. «Нету никаких Кишуков, уехали». — «На дачу?» — спросил я. «Совсем уехали. И нечего сюда шастать». — «Подождите, — сказал я срывающимся голосом, — как это совсем? Куда?» Она ответила: «Я почём знаю. Новую квартиру им дали. И ступай. Нечего тебе тут больше делать».

Я спохватился, что мне нужно было спросить, где находится эта квартира, взбежал по ступенькам и долго, потеряв надежду, звонил. Старуха открыла. Почём я знаю, сказала она. И дверь захлопнулась.

Итак... она сбежала, повинувшись страху. Я стоял на площадке в тупой задумчивости. Она сбежала, я это понял. Она не разлюбила меня, но страх оказался сильнее любви, сильнее всего, что нас соединяло, что было смыслом нашей жизни, — по сравнению с ним всё остальное не имело никакого значения. Сворачивание несовершеннолетнего или как там это называется. Дурацкие, бессмысленные слова. Торжественное разоблачение. Ну и что?.. На любом суде я поклялся бы головой, что никакого свращения не было. А был страх. Муж-оборотень, который есть и которого нет, на одних фотографиях он в штатском, на других — в ремнях и со шпалой в петлице; ничтожный и всевластный. Новая квартира, что ж, это было похоже на правду, им всем полагались отдельные квартиры в особых домах. Может, теперь у него было уже две шпалы. Не в квартире дело, а в том, что людьми правит страх, это я понял. Власть у того, кто внушает страх. Эту власть даже не обязательно показывать. Я этого мужа ни разу не видел, он не интересовал меня. Может, он ничего и не знал; наверняка не знал. Не в этом дело, а в том, что существует власть страха, она везде, просто я об этом не знал.

Я шагал вниз по лестнице, со ступеньки на ступеньку, вышел из подъезда, был ослепительный день. И я чувствовал, как мне опостылело всё на свете. Она исчезла. Бросила меня, как сбрасывают на бегу мешающую обувь. Я решил всё хладнокровно обдумать, на это ушло несколько дней. Не помню, говорил ли я вам, что во двор, по обе стороны от ворот, выходили два чёрных хода, через один из них можно было спуститься в подвал. Туда вела короткая узкая лестница и дверь, за ко-

торой в крохотном закутке помещался разбитый фаянсовый стульчак и висело нацарапанное дворником обращение к жильцам, я помню из него одну фразу: «Лакеев за вами нет». Было видно, что лакеев в самом деле больше нет: всё было забросано мусором. Дальше начинался тёмный коридор, за ним бывшая котельная, её ликвидировали с тех пор, как дом был подключён к центральному отоплению. Коридор и комната, где с потолка свисал обрывок провода, были местом таинственных приключений нашего детства; детство давно миновало. Дождавшись, когда стемнеет, я сошёл в катакомбы с карманным фонариком. Из подвальной комнаты можно было добраться до люка в углу двора. Обследовать этот второй коридор я не стал, что и привело к неудаче моего предприятия.

Всё было приготовлено: ящик, шаткий, но пригодный для моей цели, верёвка и мыло. Я владел искусством вязать морской узел. Этим узлом я привязал верёвку к обрывку провода, обмотал для верности вокруг изолятора. В кармане у меня лежала записка; я воспользовался некоторыми выражениями, вычитанными из книг. Само собой, об Ольге не было упомянуто ни намёком. Мною было предусмотрено всё, за исключением одного обстоятельства. Я забыл, что подвал служил изредка ночлежкой для бродяг. Дворник вёл против них войну с переменным успехом. В этот раз в коридоре, который вёл к люку, устроился нищий. Это был пожилой интеллигентный человек, я встречал его изредка в нашем переулке. Он вытащил меня из петли».

Повествователь проговорил:

«Где-то я вычитал фразу из египетского папируса. «Те, чьи имена произнесены, живы». Это верно: имя обладает магической властью, потерять имя — всё равно что умереть. Я не могу вам открыть имя, которым звала меня Ольга Варфоломеевна, это имя осталось там, в России, да и сам я, в сущности, остался там, а тот, кого вы слушали, — это другой человек...»

В ответ раздались восторженные восклицания: был внесён необыкновенный торт. Все занялись чаем.

Корсар

I

Самая обыкновенная жизнь полна необъяснимых тайн, и наоборот, весьма неправдоподобные приключения могут на поверку оказаться довольно обычным делом. Старая, как мир, история путешествия, всякий раз новая, всегда одна и та же, заключает в себе ровно столько же неожиданного, как и тривиального: всё зависит от того, как на неё посмотреть. И, конечно, от того, кто её рассказывает.

Мы же, со своей стороны, постараемся не злоупотреблять описаниями заморских чудес, не расцвечивать небылицами наш рассказ, но вести его с подобающей осмотрительностью, не спеша, как штурман ведёт корабль по извилистому фарватеру.

Фрахтовый пароходик, перевозящий пассажиров, служит единственным средством сообщения между островком с красиво звучащим для европейского уха названием и главным, или Большим, островом, который не зря величают материком: он принадлежит к числу обширнейших в Южном полушарии. Желаящим посетить островок приходится иногда несколько дней ожидать рейса. К счастью, это бывает нечасто, администрация отеля обыкновенно ставит в известность капитана (если он не в запое) о том, что ожидается прибытие туристов. Хотя, впрочем, и туристы здесь редкость.

Ранним утром рыбаки подплывают к низкому берегу в своих плоских лодках-однодерёвках, тащат по песку корзины со сверкающей на солнце добычей. Дети собирают на отмелях раков и ракушки, пока не начнёт припекать и пляж не опустеет. Постепенно всё замирает. Солнце пылает с высот. Часам к пяти пополудни улицы городка заполняются людьми. Стройные черноволосые женщины с глазами, как сливы, в пёстрых одеждах, встречают друг друга у дверей лавок и лавчонок. Огромный, напоминающий лоскутное одеяло стяг республики развевается над дворцом правителя. Столб дыма стоит вдали за бурными холмами: это крестьяне сжигают остатки девственного леса. Таковы беглые наблюдения местной жизни, которые можно сделать в ожидании парохода. Самый же путь к островку через пролив занимает когда два, когда три часа, смотря по состоянию моря (и капитана).

Несколько слов об островке: в путеводителях о нём приводятся противоречивые сведения либо он вовсе не упомянут. Вопреки географии, по причинам скорее ведомственным, почта на остров идёт кружным путём через Режуньон и доходит из Европы за несколько месяцев, если вообще доходит. Похоже, что не все почтовые отделения осведомлены о его существовании.

Имя, которое дали этому клочку земли мореплаватели, Sancta Nilaria, в честь никому не известной святой, не удержалось. К моменту высадки португальцев (за ними последовали арабы, англичане, последние 250 лет островком владеет Франция) здесь, вероятно, существовало туземное население. О его судьбе нет достоверных сведений. Следы языка аборигенов сохранились, как это часто бывает, в топонимике — названиях некоторых вершин, горных речек и т.п.; такого же происхождения, по-видимому, и второе, ставшее ныне официальным наименование острова, которое можно перевести как Жемчужный, Гиацинтовый, Чешуйчатый, а также Земля Зуба; точный смысл неизвестен, возможно, у него и не было точного смысла. Взобравшись на гору, гость, прибывший на отдых, нашёл, что островок в самом деле имеет форму клыка, хотя его можно сравнить и с морским животным, например, креветкой. Пожалуй, ближе всего остров напоминал человеческое тело, свернувшуюся калачиком женщину. Но это наблюдение было сделано позже. А пока что курортник трясся в старом джипе с начёртанным на дверце названием гостиницы, рядом со смуглым водителем. Ехали среди зарослей злака, похожего на кукурузу. «Sikr (сахар)», — сказал шофёр по-креольски; пассажир, успевший в дороге приобрести с помощью туристических брошюр кое-какие познания в этом языке, догадался, что это сахарный тростник.

Затем снова показалась бухта, несколько времени экипаж тащился под сенью могучих кокосовых пальм вдоль пустынного, уходящего к горизонту пляжа. Не доехав до рыбацкой деревни, свернули в пальмовый лес. Мотор ревел, шофёр бодро крутил баранку, извилистая дорога, усеянная твёрдыми, как камень, комьями красно-бурой земли, круто шла вверх, над верхушками деревьев на бледно-голубом небе рисовались туманные горы. Это сейчас, думал курортник, глина затвердела, а что будет, когда пойдут дожди? Что-то приторно-сладкое, вялое и мечтательное, запах цветов или самой земли, витало в воздухе. Этим пока и ограничивалась экзотика, но в конце концов всякая экзотика — вещь обоюдная. Он сам был экзотическим пришельцем на острове.

Курортника звали... позвольте, как же его звали? Кроме администратора гостиницы, никто так и не научился правильно произносить его имя. К тому же, по сведениям, которые удалось собрать, оно не бы-

ло его настоящим именем. Теперь это имя стоит на круглом камне, какие встречаются на погостах в этой части океана, — если можно назвать погостом место, где чаще всего никто не лежит, — но опять-таки нужно сделать поправку на местный акцент и более чем сомнительную грамотность того, кто начертал имя и возраст усопшего. Надпись сделана краской, которую изготавливают из панциря бурого скорпиона, чрезвычайно опасного; к счастью, это довольно редкий зверь.

Вообще, что касается членистоногих (раз уж зашла об этом речь), как и некоторых других обитателей Жемчужного островка, то предлагались различные объяснения, почему многие из этих существ нигде больше не встречаются, даже на соседнем Большом острове. Например, считают, что много тысячелетий тому назад, когда взбунтовались воды (местная версия легенды о Великом потопе), вся эта живность нашла приют в лесах и на скалах маленького острова, который одиноко возвышался над гладью океана, поглотившего и Большой остров, и разбросанные вокруг коралловые рифы и мелкие архипелаги. Но хватит отвлекаться. Пересказывание различных преданий (как уже говорилось, путеводители противоречат друг другу) увело бы нас далеко. Оно похоже на перелистывание растрёпанной книги без начала и конца. Или на блуждание в зарослях, между которыми пробирался, приближаясь к месту назначения, джип со смуглым лиловоглазым шофёром и седоком в соломенной шляпе. Остров только казался таким маленьким.

Несколько времени тому назад непредвиденное событие радикально изменило жизнь приезжего. Он получил письмо из провинции от бездетной тётки, которую никогда не любил, от которой много лет не имел вестей. Она извещала его о своём решении; он не успел как следует поразмыслить над этой новостью, как вслед за письмом пришла телеграмма.

Первая мысль его была, что поездка в бретонскую глушь обойдётся слишком дорого. Отказаться от привычек скромного существования так же трудно, как привыкнуть к роскошной жизни. Да и вряд ли он успел бы на похороны. Получив наследство, он по-прежнему жил в холостяцкой берлоге, в доме без лифта, видевшем Великую революцию. Но что-то сместилось, вроде того как цветные стёклышки перемещаются при повороте калейдоскопа, что-то было вырвано из души, и в ней образовалось полое пространство. Перемена существования, даже счастливая, всегда оставляет чувство пустоты. Можно было бы сказать, что свалившееся на него состояние, не такое уж большое, но в сравнении с его доходами огромное, обернулось болезнью, не предусмотренной медицинской классификацией, — и наоборот, можно было сказать, что он выздоровел.

Выздоровел — от чего? От жизни, другой ответ подыскать невозможно. Он почувствовал себя свободным, вернее, впервые в жизни понял, что это значит — быть свободным. Словно вместе с уведомлением о смерти богатой родственницы в телеграмме стояло ещё кое-что, а именно, что отныне ничто не имеет цены. Просыпаясь утром, он думал о том, что мог бы вообще не вставать. Днём, сидя в своём кабинете (ибо он всё ещё ходил на службу), он представлял себе, как он встанет из-за стола и уйдёт, и больше не вернётся. Свобода состоит в том, что ничто не заслуживает внимания, так как ничто не имеет цены. Он сам больше не имеет цены, другими словами, он вознесён над шкалой ценностей. Человек чувствует себя ничьим, вот что такое свобода.

С этой минуты уже не важно, кем он был, не важно, где он жил. Прошлое не имеет значения. Хотя он всё ещё притворялся перед самим собой, будто ничего не изменилось, привычно экономил на еде, по-прежнему, как ни в чём не бывало, перебрасывался с коллегами словечком о разных пустяках и делал вид, что его интересуют их новости, что его заботит карьера и пенсия, — хотя всё это продолжалось и он всё ещё медлил на краю пропасти, которая называется свободой, в действительности его уже ничто не интересовало: ни карьера, ни зарплата, ни служебные интриги, ни знакомые женщины, ни родственники, ни друзья. Баста — он свободен. Он шагает по улице, механически читает вывески, поглядывает на витрины. И думает: а мне всё это ни к чему. У меня на счёте шестизначное число. Самое лучшее вообще не вставать с постели. Вообще не выходить из дому. Или уехать — всё равно куда.

II

Быть ничьим, думал курортник, глядя на показавшуюся над зелёной чащей башенку с флагом, не принадлежать ни к какому народу, не состоять ни в какой партии, не молиться ничьему богу; быть ничьим — это значит не числиться ни в чьих рядах и не маршировать ни в каких колоннах. Быть самим собой, думал он, только самим собой. То же, что быть никем: прочерк во всех пунктах анкеты. Подъехав ближе, он увидел, что на чёрном флаге гостиницы вышит стилизованный белый череп, под черепом — скрещённые кости.

Во дворе стояла пушка. Администратор, с чёрной шёлковой повязкой на глазу, встретил курортника на пороге отеля. Администратор был малорослый, смуглый и широколицый человек, весьма модно одетый, с «кисой» на шее, с платочком в кармане пиджака. Он застыл в изящном поклоне, раскрыв объятия, между тем как служитель гостиницы, тоже с «кисой», и водитель джипа внесли в дом чемоданы гостя.

Чемоданов было всего два, но и служитель, и шофёр рассчитывали на персональные чаевые. «Добро пожаловать на Святую Иларию!» — воскликнул администратор.

Приезжий выразил удивление, заметив, что такое название вышло из употребления. «Верно, — сказал администратор, — и мало кому оно вообще известно. Но я вижу, — добавил он, — что вы основательно подготовились к приезду». Курортник отвечал, что он проштудировал путеводитель. «Мои предки, — возразил администратор, положив перед гостем перо и придвинув чернильницу, — всегда называли свой остров только так».

«Свой — вы говорите: свой?» — рассеянно спросил гость, пробегая глазами формуляр. Он машинально взял ручку, взглянул на неё с некоторым недоумением и, окунув перо в чернила, принялся за дело.

Администратор снял со здорового глаза пиратскую повязку в знак того, что церемониал встречи исчерпан; после чего была произнесена речь на языке, который с некоторой натяжкой можно было считать французским.

«Да, ваша информация правильна, — перед вами действительно бывшая цитадель пиратов. На этом острове они отдыхали от трудов... Вы удивлены, вы спросите, от каких трудов? О, пираты, уверяю вас, не бездельники!»

«Правда, от крепости остались только стены. Это было двести лет назад, то есть я хочу сказать, двадцать лет. Ровно двадцать лет, как я выкупил участок. Земля моих предков! Меня отговаривали. Никто не мог понять, какие чувства мною руководили. А главное, — главное, это я вам скажу по секрету: никто до сих пор не верит. Там, в Европе, все думают, что сокровища флибустьеров — это легенда. А я их разыскал. Да, на дне бухты. А откуда же, вы думаете, взялись средства. Какой банк даст кредит под такое предприятие? Я всё вложил в эту гостиницу. Расспросил стариков. Южная оконечность острова — лучшее место в климатическом отношении. О, я уверен, что вы будете чувствовать себя у нас превосходно. Вам не захочется уезжать!»

Как уже сказано, администратор гостиницы говорил с ошибками, — воспроизводить их в переводе нет смысла, — тем не менее это был французский язык; во всяком случае, не креольский. Заметим, что креольский язык — некоторые не признают за ним этого статуса, называют его диалектом или даже говорят о двух диалектах, вест-индском и ост-индском, — заметим, что креольский, точнее, франко-креольский язык, который европейцу кажется примитивным жаргоном, кое-как приспособленным для общения туземцев с колонизаторами, в действительности представляет собой особый и полноценный язык с собствен-

ной грамматикой, правда, пока ещё не кодифицированной; живой, гибкий, женственно-пластичный язык, без усилий всасывающий английские, французские, индийские слова; язык, который лингвист отнёс бы к романской группе, отнюдь не считая его искажённым французским. И кто знает, быть может, креольский язык — это будущее французского языка, подобно тому как французский стал будущим великой умолкнувшей речи — латыни.

Говорят, что колонизаторы в своё время приложили старания к тому, чтобы воспрепятствовать невольникам, привезённым для заготовки чёрного дерева, общаться друг с другом на родном наречии. Их расселили так, чтобы не только одноплеменники, но и родственники не жили сообща. Осуществить это в те далёкие времена было тем проще, что Чешуйчатый островок казался, а возможно, и был протяжённой, чем ныне: девственная земля всегда обширнее обжитой. Единственным средством общения оставался язык господ. Следствием столь предусмотрительной политики было чрезвычайно интересное с лингвистической точки зрения приспособление французского языка к образу мыслей эбеновых рабов, к унаследованным от предков мыслительным конструкциям и грамматическим формам былых наречий. Душа исчезнувшего языка живёт в креольском, как души умерших живут, по местным поверьям, в их потомках.

«Надеюсь, вы привезли с собой всё необходимое, — продолжал администратор. — Как указано в нашем проспекте. У нас пока ещё немного гостей. Я считаю это большой удачей. Для вас, разумеется. Что может быть ужасней этих заваленных потными телами пляжей, где — как это говорится в Писании? — Сыну человеческому негде голову преклонить. Воистину негде! Ведь в наше время — впрочем, кому я это рассказываю? В наше время буквально всё и везде затурищено!»

Произнеся со вкусом это слово (для которого мы постарались придумать русский эквивалент), администратор отеля остановился. «Но позвольте... — пролепетал он, испуганно следя за рукой курортника, которая делала размашистые штрихи и небрежно подчёркивала «нет» везде, где надо было ответить, да или нет. — Что вы делаете?»

«Я отвечаю на вопросы».

«Да, но...»

Гость покосился на администратора, отпил из стакана и продолжал заполнять формуляр.

«Но уж эта-то графа, я надеюсь...»

Гость перечеркнул целую страницу громадной буквой Z.

«Я извиняюсь!» — вскричал администратор.

Курортник что называется и ухом не повёл.

«Порядок есть порядок, — меланхолически заметил администратор, — или вы иного мнения?»

«О нет, что вы», — возразил курортник.

«Н-да... У вас, можно сказать, идеальная анкета», — сказал администратор, не скрывая своего разочарования. Правда, впоследствии оказалось, что она была не лишена известных преимуществ. Но не стоит забегать вперёд. Вздохнув, администратор заметил, что вынужден напомнить о справках. Сделаны ли прививки? Против бильгарциоза, малярии, прекрасно. Сонная болезнь; тоже не помешает. Месье, наверное, не представляет себе, что такое сонная болезнь.

«Могу вас успокоить: я тоже не представляю. Ни одного случая, сколько я здесь живу. Справка об отсутствии СПИДа у вас есть? Как давно выдана? Виза вам как французскому гражданину не нужна, но с другой стороны... Нет, нет, заграничный паспорт меня не интересует, — прибавил он поспешно, к удовлетворению путешественника, который назвал себя в анкете вымышленным именем, сам не зная почему. — Я вам верю... Я хотел только спросить, не было ли у вас неприятностей на материке, при посадке на пароход? Ваше счастье. Усердие этих чиновников порой превосходит всякое воображение. А с другой стороны, скажу откровенно: я даже рад. Благодаря этой бюрократии у нас ничего не случается. У нас нет преступности, этой чумы современного мира».

«Мы, знаете ли, в особом положении. У нас не вполне определённый статус, это имеет свои преимущества. Могу сообщить вам по секрету, — зашептал он. — О нас там в Париже забыли. Забыли, ха-ха! У меня такое впечатление. Ничего удивительного: мало ли других дел? И к лучшему, уверяю вас. Parbleu! Формально мы относимся к Реюньону. То есть должны считаться заморским департаментом. Но сами понимаете: тут и французов-то настоящих нет. На материке, разумеется, не возражают, они считают, что мы относимся к ним. У них там какая-то собственная республика. Придумали себе гимн, герб... Можете себе представить. Ещё заведут, чего доброго, собственную армию и полицию. Спрашивается, зачем? Кому нужна вся эта мишура, так называемая независимость; только лишние заботы. Гм, покорнейше прошу извинить за нескромность: ваш банковский счёт в порядке?.. Вопросов нет. Я занимаю вас своей болтовнёй, а вы, без сомнения, голодны. Я отнял у вас много времени. Вас удивляет, не правда ли, что в такой глуши, как наша, тоже существует бюрократия. Торжественно обещаю, это первый и последний раз, когда я мучаю вас формальностями. Ничего не поделаешь, я один, можно сказать, персонифицирую порядок. Я и владелец, я и бухгалтер, и кассир. Бесконечно доверяю вам, но порядок требует. Вынужден просить вас внести аванс. Предварительная

плата за первые десять дней. О, я более чем уверен, что вы пробудете у нас дольше, я не сомневаюсь в том, что вам здесь понравится. Вам отведена лучшая комната, с балкона открывается сказочный вид. Ну-с, и последнее. На этой карточке перечислены виды услуг. Полупансион входит в стоимость отеля. Я имею в виду завтрак и ужин. Большинство наших гостей вообще не обедает, завтрак достаточно плотный, да и климат не располагает... Вам, вероятно, захочется днём отдохнуть. У нас обычно все соблюдают сыесту. Но если вы привыкли, можно получить обед на берегу, там есть ресторанчик рядом с деревней. Неплохая рыба и так далее. Советую вам заказывать без соли, не доверять повару. В наших широтах принято солить больше, чем вы привыкли. Здесь ведь даже фрукты солят. Зрелые манго с солью — советую попробовать. А как вы смотрите на яблочки любви? *Petites pommes d'amour*. Обязательно надо попробовать. Это такие томаты. Считается, что укрепляют мужскую силу... и форма, знаете ли, не случайная. Туземный фольклор. Хотя, впрочем, не стал бы вам особенно рекомендовать этот ресторан. Народ у нас бедный, грязновато. Я хочу сказать, если вы захотите получить обед в отеле, пожалуйста. Только отметьте в карточке. Это относится и к напиткам... Здесь предусмотрено — позвольте, что же здесь предусмотрено? Экскурсия в горы, катание по морю, осмотр отеля. А также специальный вид обслуживания: надеюсь, вы меня понимаете. Кров и женщина, старинный обычай нашего острова. К завтраку вы опоздали, я распоряджусь, чтобы принесли в номер. Итак, — воскликнул администратор, поспешно натягивая чёрную повязку и вновь картинно раскрыв объятия, — разрешите мне ещё раз приветствовать вас в этом гостеприимном доме, в этом земном раю, на берегах Святой Иларии!»

III

«Всё болтовня», — сказал курортник, входя в номер. Его чемоданы стояли посреди комнаты. Времени у них тут много, скучища, вот они и рады каждому новому человеку. Он жалел о том, что притащился сюда. Идея возникла в один скучный дождливый вечер, он увидел в газете фотографию, прочёл статью, полную всяких небылиц. Девушка в *bureau de voyages* на улице Нотр-Дам-де-Назарет была вынуждена призвать из соседней комнаты на помощь заведующего, турист показал газету, причём заведующий осторожно выразил сомнение в подлинности фотографии. Такие трюки нам известны, сказал он. Листали справочники, водили пальцем по большому светящемуся глобусу, точно плыли на корабле. Трёхмачтовый бриг «Антилопа» вышел в Южный океан.

«Нет такого океана, вы что-то путаете», — сказал заведующий бюро путешествий. Клиент напомнил, что так начинаются «Путешествия Гулливера, сначала судового врача, а затем капитана многих кораблей». — «Ну разве что путешествия Гулливера, — усмехнулся заведующий. — Где-то здесь, — бормотал он, — но где?» Девушка предложила поискать в Карибском море. «Да, но в газете...» — возразил клиент. Наконец, остров нашёлся, он значился под другим названием. Сколько-то времени ушло на телефонные переговоры, попытки выяснить, есть ли там гостиница.

«Скоро будет двадцать лет, как я занимаю эту должность, и представьте себе, за всё время вы первый решили провести отпуск на этом острове, — заметил заведующий бюро. — Что ж, в добрый час. Или вы передумали?»

В самом деле, курортник засомневался, не оставить ли эту затею. Мир велик! Но почувствовал, что решение принято, и даже как будто не им самим. Словно он получил назначение. Словно там, на неведомом острове, его ждало сокровище. Были заказаны билеты, путеводители и проспект, тот самый, на который ссылался, по прибытии гостя, администратор-пират; проспект, кстати сказать, так и не пришёл. Лёгкий бриз шевелил занавеску. Недели, размышлял курортник, оглядывая комнату, будет вполне достаточно. А там двинем ещё куда-нибудь.

Он выглянул наружу: за стеклянной дверью находился балкон — бетонная плита и короткая приставная лестница, утонувшая в оранжево-сером песке. Сразу за домом начинался пляж. Тёмный стальной океан сверкал так, что больно было смотреть. Комната с выбеленными стенами гостю почти понравилась. Мебели не было. Для одежды была устроена ниша. Слева вдоль стены тянулся приступок, который мог служить столом или полкой, в уголке было сложено стопкой чистое постельное бельё. Напротив, головой к стене, находилось ложе — широкое плоское возвышение, на котором лежали европейский матрац и валик. В небольшом углублении стояла лампа. На полу циновка. Он упал на матрац и заснул под шум моря.

День всё так же сиял и шевелилась занавеска, когда курортник открыл глаза. Смена географических поясов и знакомое путешествующим, особое чувство невесомости во времени, похожее на физическую невесомость, сделали своё дело: он спал так крепко, что теперь ему казалось, будто он всего несколько минут назад вошёл в номер. Зато беседа с администратором отступила куда-то далеко; да и вся долгая дорога, самолёт, ожидание на Большом острове и переправа через пролив представлялись полуреальными. Гость увидел, что его чемоданы стоят в платяной нише, одежда висит на плечиках. Возле него на широком ложе разложена пижама, приготовлены пляжные тапочки. Не забыты

и очки для ныряния. С удивлением он обнаружил, что лежит на упругой, видимо, резиновой подушке в свежей крахмальной наволочке. Ещё одна подушка лежала рядом. Он вскочил с постели, прислушался, в холле было тихо. И всё так же ухало, плескалось, чмокало и влажно шуршало снаружи, как будто кто-то без устали полоскал бельё.

Турист отправился на разведку, и каждое новое открытие подтверждало его догадку, что он единственный постоялец в отеле. На крыше, под волнующимся тентом, размещался ресторан. Судя по всему, он не работал. Холл был пуст, во дворе курортник погладил чугунную пушку по тёплому стволу и вышел за ворота. Извилистая тропа среди зарослей бугенвиллии вывела его снова на пляж, но довольно далеко от дома. Вокруг серебрился и темнел океан. Гость обернулся: ба-шенка с чёрным флагом исчезла. Турист был один во всё мире.

Никакими словами не выразимый восторг одиночества, чувство свободы, счастья, тревоги! Он подумал, что никто не знает, куда он уехал: ни бывшие сослуживцы, ни те, кто по праву или обязанности родства известили его о кончине тётушки; случись с ним что-нибудь, его не сумели бы разыскать. Разве только в бюро путешествий, жалкой конторе на улице Назаретской Божьей матери, — как далеко всё это отступило! — могли дать справку, да ведь и там, как выяснилось, не имели представления об этой крохотной земле. Само правительство, по уверению администратора, забыло об острове. Вдобавок турист скрыл своё имя. Но кто его может хватиться? Кому ты нужен, спросил он себя, и рассмеялся. Если каждый имеет право на самоубийство, эту привилегию человека, которая ставит его выше богов, то кто посмеет лишить его права пропасть без вести? Ноги стали увязать в красном песке, он опустился наземь и мог бы просидеть много часов, если бы не боязнь обгореть и внезапно пробудившийся голод.

Курортник долго спал и видел во сне облака, песок, пляшущие искры океана, трясся по окаменевшим глиняным колеям, разговаривал сам с собой или с шофёром, который рассуждал о чём-то на креольском наречии; и уже почти проснувшись, он догадался, что шофёр говорит о сокровище на дне бухты и о том, что самые неправдоподобные события легко объяснимы, всё зависит от того, как на них посмотреть: объяснение важнее самих событий, потому что событие ставит тебя в тупик, а объяснение успокаивает. Несмотря на то, что курортник уже несколько дней находился на острове, он всё ещё не мог преодолеть непривычную усталость, настигавшую его то и дело во время прогулок. Всё ещё сказывалась перемена климата. На глубине локтя песок был уже не таким горячим, опустившись на колени, курортник вырыл яму и улёгся там, как в прохладной могиле.

На обратном пути, в лесу, по странному совпадению, ему повстречалось похоронное шествие. Он услышал монотонное пенье, без конца повторялась одна и та же фраза, из-за угла дороги вышел темный вожатый, весь в белом, он нёс высокий тонкий крест с цветными лентами. Курортник где-то читал, что их должно быть столько, сколько лет было усопшему; на кресте развевались три ленточки. Позвякивал колокольчик. За священником шёл, понурившись, молодой мужчина, босой, в колыхающихся бесформенных штанах до щиколоток, и нёс на плече деревянный футляр, это был, очевидно, отец; сзади прилежно ступали крохотными шоколадными ступнями, опустив головы, одетые в белое женщины. Никто не плакал. В конце и несколько отстав от процессии, два подростка вели под руки древнюю сгорбленную старуху.

Администратор гостиницы утверждал, что ей не меньше ста двадцати лет. Все участники шествия, а может быть, и все деревенские жители были её потомками. «Чрезвычайно редкий случай, что она вышла из дому, — сказал администратор, — вам повезло». Они сидели на крыше отеля за кокосовым пуншем. Курортник спросил, отчего умер мальчик. «От лихорадки; здесь особенно не вдаются в причины. Врачей на острове нет, да и к чему здесь врач? А что касается юре, если, конечно, его можно так назвать...» Но ведь здешние жители католики, заметил гость. «Конечно, конечно», — сказал хозяин отеля. Они помолчали, администратор добавил: «Есть один лекарь или, вренее, тонтон».

Курортник перевёл стрелки перед посадкой на фрагтовый пароход, но, приехав, перестал носить часы, перестал вообще следить за временем. К чему? Он смотрел на оранжевый, как желток, шар солнца в сером тумане.

«Тонтон?» — рассеянно спросил он.

«Это слово трудно перевести. Оно означает колдун, злой человек, а также добрый человек; вообще может значить всё что угодно. Особенность здешнего языка, знаете ли. Слова могут иметь противоположный смысл. Здешняя мифология, если можно её так назвать, не знает разницы между Богом и дьяволом. Может, в этом что-то и есть, *p'est-ce pas?*...»

«Тонтон должен решить, стоит ли заниматься лечением заболевшего. Если он, например, возьмётся лечить того, кто обречён, божества могут разгневаться. Лекарь проводит ночь перед хижинкой, где лежит ребёнок, и следит за созвездиями, чтобы не упустить момент, когда божества скажут, хотят ли они взять его к себе. Я не утомил вас этой маленькой лекцией?..»

«Не берусь судить, — промолвил администратор после некоторого молчания, — может, в этом действительно есть резон. Вам я тоже не советовал бы нарушать, э, некоторые правила. Не дразнить, так сказать, высшую силу...»

Какие же правила он может нарушить, спросил гость Администратор развёл руками, как бы желая сказать: откуда я знаю? Или намекал на то, что правил много.

«Короче говоря, тонтона зовут к умирающему, и тонтон объявляет родителям и всей родне, когда придёт смерть. Это очень важно знать. В этот момент родители обязаны зачать следующее дитя, чтобы душа умершего не покинула дом».

«Да, но если... жена не может?»

«Вы хотите сказать — если у жены регулы? Тогда приглашают другую женщину. Родственницу или просто соседку. Главное, успеть. Что же касается покойника, то похороны похоронами, как предписано католической верой. А на самом деле его просто сбрасывают в океан. Поэтому что тело уже не представляет ценности».

«Это что, — осведомился гость, выслушав всю эту галиматью, которую он не без основания считал блюдом для туристов, — учение воду? Или как там называется ваша религия».

«Я не говорил вам, что это моя религия, — холодно возразил администратор. Он добавил: — Здешние поверья ничего общего с культом воду не имеют. А религия, как я уже имел честь вам доложить, на нашем острове римско-католическая. Осмелюсь спросить, вы тоже католик?»

Курортник пожал плечами. Желая сменить тему, хозяин отеля спросил, глядя в свой стакан: «Как вам Илария?» Оказалось, что так зовут горничную.

«Послушайте, вы когда-нибудь пробовали...» Парижанин услышал незнакомое слово. Он спросил, что это такое.

«О, сейчас увидите. Тем более, что время ужинать, на так ли?»

Появилась горничная, она же кухарка, девушка лет пятнадцати.

«Ну-ка приготовь нам... — сказал администратор. — Она умеет, сейчас увидите. Это недолго».

«Она вообще всё умеет. И ведь, заметьте, никто не учил; выросла без родителей; удивительное существо...»

«Отведайте», — сказал он, когда юная повариха внесла большое плоское блюдо, распространявшее сильный и странный запах. Следом служитель нёс жаровню со сковородой. На столике перед хозяином и гостем лежали толстые ломти кукурузного хлеба. Администратор потирал руки. Он взял хлеб, намазал его пахучей пастой с мёдом, схватил, обжигаясь, со сковороды то, что пеклось на ней, ловко шлёпнул на ло-

мочь хлеба и протянул гостю. Курортник с недоумением оглядывался. Девушка и бой исчезли, он не заметил их ухода. Администратор разлил вино, предварительно показав гостю этикетку. Курортник с опаской откусил от экзотического изделия, это были лепёшки из мяса зебу со сложным набором трав.

«Ну как?» — спросил хозяин с торжеством.

«Превосходно».

«Нигде в мире вы не получите такое блюдо. Cheers!» — возгласил он. Курортник пробормотал ответный тост, вежливо похвалил вино.

«Оттуда. Мы получаем оттуда». Многозначительно кивая, администратор указал через плечо большим пальцем. Подразумевал ли он Большую землю? Или Францию? Или известную одним пиратам, отсутствующую землю за горизонтом? Приезжему показалось, что сотрапезник угадал его мысли, когда после нескольких бокалов — оба слегка охмелели от выпитого и съеденного — хозяин спросил вкрадчиво:

«Поднимались ли вы к вулкану?»

«Да... то есть ещё нет».

Администратор наклонился к нему: «Оттуда можно увидеть...»

«Что увидеть?»

«В ясную погоду», — пояснил хозяин.

«Вы не ответили».

«Ответа нет, — сказал администратор и откинулся в плетёном кресле. — Ответа нет, вот единственный ответ. Никто не знает, существует ли она на самом деле или это только мираж!»

IV

Осмотр отеля в качестве первой и главной местной достопримечательности убедил курортника в том, что у предприятия большое будущее; кое-что было ещё не готово, кучи песка, бочки с извёсткой свидетельствовали о том, что работы продолжаются. Со словами: «А вот тут у нас... не угодно ли?..» администратор-экскурсовод ввёл гостя в большую комнату.

«Не угодно ли взглянуть: конференц-зал».

Комната со свежепобелёнными стенами и потолком была пуста, лишь у стены напротив двери находился крашенный невысокий помост, на помосте стояло круглое резное кресло с изогнутыми подлокотниками. По-видимому, — причиной был своеобразный французский язык администратора, — выражение «конференц-зал» имело в его устах не совсем обычное значение.

Кресло было снято с португальского корабля лет триста тому назад. По обе стороны были прибиты к стене два флага: трёхцветное знамя Французской республики и ещё какое-то, с полосами всех цветов радуги, вероятно, флаг острова.

«Я принимаю здесь делегации из деревни», — сказал администратор. Он не мог скрыть некоторого смущения.

«Видите ли, не надо придавать этому большого веса... То есть, конечно, всё это важно и необходимо, но в каком смысле? В чисто местном, уверяю вас. Мы ни в коей мере не посягаем на прерогативы метрополии... С другой стороны, приходится считаться с местными традициями. Нельзя игнорировать местную историю! Точно так же как нельзя выказывать презрение к местным верованиям. В этом состоит мудрая колониальная политика. Я убеждён, что в Париже со мной согласятся, более того, в Париже только одобряют... если, конечно, — добавил он, усмехнувшись, — о нас там кто-нибудь ещё помнит».

«Все знают, что эта земля принадлежала моим предкам. Здесь умеют чтить преемственность и уважать права. Кто же, по-вашему, может быть лучшим кандидатом?»

Курортник был вынужден признать, что более законного претендента найти невозможно.

«Теперь вам понятно, — заключил своё пояснение хозяин отеля, — почему они провозгласили меня вождём племени и королём острова. У меня есть и корона — хотите, покажу?» И он весело подмигнул гостю.

Курортник решил обойти остров; путешествие, говорили ему, займёт не больше полутора часов. Выйдя утром из дому, он двинулся вдоль песчаной отмели под навесом пальм. Впереди пенистый прибой разбивался о рифы и бурлил вокруг камней, вокруг, сколько мог охватить глаз, расстился сизый, белёсый, призрачно серебриющийся, далёкий и в этой немислимой дали уже не отличимый от неба океан: горизонта более не существовало. Время от времени скалы преграждали путь, приходилось внимательно смотреть под ноги, берегитесь морских ежей, сказал администратор, главное — берегитесь ежей: наступите на иглу, придётся целую неделю проваляться в постели. Путник вступил в лес, стараясь не потерять из виду берег, обогнул мыс, остров медленно поворачивался, кончился прилив, впереди рисовались новые отмели, где-то невдалеке должна была находиться деревня. Одно время ему казалось, что он видит вдали конусы хижин. Постепенно они растворились в дымке, словно ось земли незаметно перевернулась, и теперь он не приближался, а уходил всё дальше от цели. Поднимаясь по горячему склону, он добрёл до каменной площадки и снова увидел между зарослями встающий к небу океан. Сзади, над головой путника, на бледном от зноя, оловянном небе стояла курящаяся, со срезанной макуш-

кой голова вулкана. Океан казался отсюда грифельным. Сколько ни вглядывайся в морскую даль, никакой земли не увидишь. Никто не знает, сказал администратор, где она расположена, её нет на картах. Но то, что её невозможно было разглядеть, как будто подтверждало её существование: если бы это был мираж, я бы видел его, рассуждал курортник. Несколько времени спустя он поднял отяжелевшую голову — гора была уже далеко, занятый своими мыслями, он не заметил, что оказался внизу. Ноги стали уходить в песок; разувшись, с палкой через плечо, на которой висела его одежда, голый и лоснящийся от мази путешественник всё глубже проваливался в песчаную постель.

Тем временем (турист брёл к себе в гостиницу) кое-что изменилось. Солнце по-прежнему пылало в небесах, тускло блестело расплавленное серебро океана, и вокруг всё приобрело зловеший оттенок, зелёные заросли сделались жёстче и ещё зеленей. Что-то вздрагивало и горело перед глазами путника, он едва различал дорогу перед собой. Пошатываясь, он добрался до дома с башенкой; незнакомый человек приблизился к нему; два человека; один из них был хозяин. Что случилось, спросил озабоченно хозяин гостиницы, где ваш головной убор? Курортник потерял панаму. Он наступил на иглу морского ежа, сказал другой человек. Нет, это не морской ёж. Это бурый скорпион. Сделаны ли прививки? Где справка? Курортник слышал этот разговор, но не мог понять, говорят ли с ним двое или он слышит один и тот же голос. Курортник покачал головой и почувствовал, как во лбу, позади глаз колыхнулся расплавленный металл, серебро океана. «Немедленно в постель», — скомандовал один, и эхо в мозгу повторило: «В постель». Постельца повели в номер.

«Это бывает... перемена климата, — бормотал администратор, который снова стал одним человеком. — Вы слишком много времени провели на солнце. Слишком далеко ушли от отеля».

«Но вы сказали, — простонал курортник, — весь остров можно обойти за полтора часа».

«Мы примем меры, — сказал администратор. — Вы пошли не в ту сторону, это бывает. Немедленно ложиться и опустить шторы. О, как я вам сочувствую». Он заботливо уложил курортника. Турист хотел сказать, что если хозяин отеля думает, что это солнечный удар, то ошибается: это мигрень, к которой он, к несчастью, имеет склонность. Но администратор уже направлялся к двери, он шёл на цыпочках, полубернувшись и делая успокоительные знаки больному. С мокрым полотенцем на лбу курортник, раздетый и прикрытый простынёй, лежал на спине, отдавшись своему страданию.

По-видимому, не прошло и пяти минут, как дверь открылась. Больной не хотел никого видеть. Горничная вошла неслышным ша-

гом, опустила бамбуковые жалюзи и задёрнула шторы. Она присела на постель, медленно водила пальцами по лбу и вискам больного. Курортник закрыл глаза. Она вытерла лоб полотенцем и возобновила движения. Её пальцы всё сильнее вдавливались в кожу, словно втирая что-то, больной почувствовал электричество на кончиках пальцев, и стало как будто легче. «Ещё», — попросил он. «Много нельзя», — прошептала служанка, она говорила с сильным местным акцентом, приезжий с трудом её понимал. Она добавила: «Немножко отдохнуть». Больной поднял веки, её не было в комнате. Боль сосредоточилась в половине головы и вокруг глаза, но ослепление прошло. Все предметы казались необыкновенно чёткими. Он лежал неподвижно. Каждое движение шеи причиняло боль. Ему представилось, что боль, как собака, дремлет рядом с ним на подушке, и он боялся пошевелиться, чтобы не толкнуть её. Курортник не слышал, как снова вошла служанка. Она склонилась над ним и поддерживала его голову. Онпил из широкой плоской чашки солоноватое питьё, первые глотки показались ему приятными, но затем он почувствовал отвращение. «Надо всё», — сказала она. Он сморщился. «Тут немного». Курортник подумал, что она скажет сейчас, как говорили в детстве: теперь за маму, за бабушку; он заставил себя сделать последний большой глоток, откинулся на подушку и начал медленно опускаться сквозь толщу мутно-зеленоватых вод на дно бухты.

Курортник очнулся, как ему показалось, через несколько часов. Он был укрыт одеялом; в комнате сумрак, шевелился занавес — поднялся бриз. Горничная сидела возле его ложа, составив ноги и держа по-прежнему на коленях чашку. «Илария, — прошептал больной, — тебя ведь зовут Илария?»

Он вспомнил беседу с администратором, ленивое сидение на крыше отеля, рассказ о лекаре и больном ребёнке. Курортник подумал о душе, вырвавшейся на волю и вновь пленённой, о том, что хрип умирающего заглушают стоны наслаждения, труд зачатия, и это не показалось ему неприличным и странным. Другая мысль его смутила. Он не мог выстроить события в их естественной последовательности. Сперва он встретил похоронное шествие, крест с разноцветными лентами, священника и отца, который нёс на плече детский гроб. Потом выслушивал объяснения пирата. Или наоборот?

Очевидно, время, как банкомёт, перетасовало свои карты.

Между тем в комнате как будто посветлело, курортник слегка потряс головой, чтобы убедиться, что он поправляется, и боль, замурованная в правом виске, откликнулась издалека. Боль протискивалась в лабиринте мозга. Перемена климата, сказал хозяин... перелёт из Северного полушария в Южное. Мысль о том, что существует связь ме-

жду полушариями Земли и мозга, показалась любопытной. Больной скосил взгляд и убедился, что юная горничная всё так же терпеливо сидит возле постели; тотчас, спохватившись, она поднесла к его рту плоскую чашку.

«Ну уж нет!» — возразил курортник.

«Надо пить».

«Ты хочешь сказать: допить? Сколько тебе лет?»

Она кивнула, как дети отвечают на любой вопрос знаком согласия. Её глаза избегали прямого взгляда, они были устремлены на чашу. Лиловые глаза-сливы, блестящие и непроницаемые. На ней было шёлковое голубое платье, вернее, кофточка, обтягивающая узкие плечи и бугорки груди и завязанная узлом на голом животе; нижняя часть тела и ноги почти до ступней завернуты в жёлтую ткань. Круглый лоб, щёки, шея в вырезе кофты были чайного цвета, как её сари. Волосы, чёрные с синеватым отливом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свёрнуты на затылке.

Вздыхнув, он допил питьё. «Будем знакомы, — сказал он и назвал своё вымышленное имя. — Сколько тебе лет, Илария? Восемнадцать? Пятнадцать?» Она смотрела на его шевелящиеся губы, точно глухонемая. Курортник повторил вопрос, показал на пальцах, она кивнула. Он продолжал допытываться. «Ты его дочь?»

«Он меня взял», — сказала она.

Курортник снова испустил вздох. Болезненно колыхалось в мозгу; он сдавил пальцами висок.

«У меня это уже было — правда, не так сильно. Я не понимаю, — сказал он, — что значит взял? В приёмные дочери? В жёны?»

Она ответила: «Не хочу».

«Что ты не хочешь?»

«Не хочу сказать».

«Значит, ты ему не жена?»

«Да».

«А кто твои родители?»

«Нет».

«Что значит нет: умерли?»

Она не знала. Она происходила из деревни на берегу.

«Много нельзя», — сказала Илария.

«Что много?»

«Много нельзя говорить. А то снова».

Турист почувствовал бессмысленность своих расспросов. Одно и то же слово, сказал владелец гостиницы, может означать в этом языке противоположные вещи. Очевидно, богатство интонаций восполняло относительную бедность словаря. Но не всё ли равно! Он знал, что миг-

рень — если это была мигрень — есть в некотором роде знамение, сигнал тревоги или недовольства, которое выражает организм: едой, погодой или полушарием Земли. Боль, как тёмное облако, вновь начала заволакивать зрение. В дверях администратор вполголоса что-то выговаривал горничной; у него был обескураженный вид. Он подошёл к лежащему осведомиться о самочувствии.

Администратор всплеснул руками, услышав о том, что гость собрался прервать свой отдых на острове, не дожидаясь условленного срока. «Как, вы не успели насладиться всеми нашими красотами! — вскричал он. — Дорогой мой, это неразумно». — «Увы», — сказал курортник. Он заверил хозяина, что не видел в своей жизни более величественной природы. Это была правда: он всю жизнь прожил в большом городе. Хотя ему определённо полегчало, он всё ещё не чувствовал себя здоровым. Некоторым людям противопоказан климат тропических островов. Курортник был в скромном, но элегантном дорожном костюме, в лакированных ботинках и при галстукке. Крутя шляпу на пальце, он окинул прощальным взглядом свою комнату, вышел в последний раз на балкон. Океан слегка штормил, этого мне ещё не доставало, подумал он. Чемоданы стояли внизу в холле. Курортник медлил; как бывает при отъезде, ему казалось, что он что-то забыл. А кстати, где эта девочка, надо бы попрощаться. И снова забыл.

Он не жалел о том, что покидает островок, на котором прожил какие-нибудь десять дней, да и то чуть ли не половину времени провалялся в постели. Он уже строил новые планы. В Париже, разумеется, делать нечего, в Париже всё напоминает о прежней неволе; он поедет в Японию или в Россию Морщась от тупой боли, представил себе, как он помчится на тройке оленей по сверкающим снежным равнинам в русских санях, с колокольчиком, в расшитой узорами шубе, лисьем шлеме и синих очках-консервах.

Убитый горем администратор ждал его внизу, по случаю проводов одетый, как в первый день: пиджак смелой расцветки, бабочка на шее. Пиратскую повязку на глазу хозяин крепости больше не носил, зато появилась новая колоритная деталь: он обзавёлся чёрно-смоляными усиками. Джип стоял у подъезда. Оставалось уладить денежные дела. Турист не настаивал на возвращении непрожитых денег, в конце концов администрация отеля не виновата в том, что он съезжает раньше времени. Всё же его неприятно удивил счёт, почтительно вручённый администратором: помимо медицинской помощи и услуг сиделки, ему предлагали уплатить за экскурсии, в которых он не участвовал, и пользование бассейном, которого не существовало. А что означает графа «специальные услуги»?

Хозяин принял достойный вид. Месье, очевидно, забыл: об этом деликатном пункте говорилось при заполнении въездной анкеты. Забыл, сказал курортник. Результат болезни, заметил сокрушённо администратор.

«Не просто услуги. Древний обычай наших мест. Поистине жаль, что вы не смогли оценить в полной мере гостеприимство нашего острова». Он чуть было не сказал: моего острова.

«Уже в те далёкие времена, когда на острове появились европейцы, они были приятно удивлены тем, что вместе с кровом гостю предоставлялась женщина. Жаль, жаль, — продолжал он, не замечая нетерпения, которое гость уже не скрывал, — девушки нашего острова — это нечто особенное!» Администратор рассказал о том, как один турист, солидный господин, владелец шоколадной фабрики, мужчина в соку, не мог забыть свою *hostesse* и присылал ей изделия своего предприятия, как в один прекрасный день он появился вновь на Святой Иларии и даже предлагал откупить у администратора его гостиницу. Разумеется, об этом не могло быть и речи.

«Сами понимаете, мой долг по отношению к предкам... К тому же на острове, когда распространился слух, начались волнения. Ко мне явилась депутация. Кончилось тем, что оба, конфетный фабрикант и девушка, укатили в Европу».

«Но я... вы же знаете». Курортник напомнил администратору, что данным видом услуг он не пользовался. Не говоря уже о том, что был болен.

«Сочувствую, — сказал хозяин. — Однако порядок есть порядок. Мой поклон капитану!» — крикнул он, выйдя следом за гостем на крыльцо, и махал рукой до тех пор, пока автомобиль, подпрыгивая, не скрылся в зарослях. После чего отстегнул бабочку, отклеил усы и, вздохнув, отправился на крышу отеля пить кокосовое пиво.

V

«Так я и знал. Я предчувствовал! — воскликнул администратор. — *Mon Dieu*, какая неосмотрительность. Я же предупреждал. Осторожно. Немедленно в постель». Служитель гостиницы и шофёр внесли носилки с курортником в холл. Приезжий заметно изменился. Молча приветствовал он хозяина коротким кивком, с трудом встал на ноги и, поддерживаемый с обеих сторон, кое-как добрался до своего бывшего номера. Стояла великолепная погода, занавеска слегка шевелилась, и блестящий мириадами искр, брызжащий пеной, свежий и синий океан набегал и откатывался, и шушал галькой под самым балконом. Головой к стене, больной покоился на плоском и широком возвышении, которое служило ему ложем, в полусумраке, на высоких крахмальных

подушках. Ничего не изменилось. Чемоданы стояли на полу, как в первый день его приезда. Казалось, он только что покинул гостиницу. Вошёл на цыпочках администратор. «Не хочу вас беспокоить, — пробормотал он, — анкету заполним позже...»

«Где Илария?»

«Так как вы от нас выписались, то теперь как бы прибываете заново, — пояснил администратор. — Но можно оформить документы позже, спешить некуда. Мы можем даже сделать так: я заполню, а вы подпишете. Ах, как не повезло. Я же говорил: не надо торопиться...»

«Где Илария?» — простонал курортник.

«Илария? В самом деле, где она... В деревне, я полагаю.»

«Пошлите за ней немедленно. И ещё одна просьба».

Администратор ждал. Курортник провёл языком по сухим губам.

«Эй, — администратор выглянул в коридор. — Воды в седьмой номер».

«Спасибо, не беспокойтесь. Скажите... Есть в отеле музыка?»

«Музыка? — улыбнулся администратор. — Вы имеете в виду туземную музыку? О да, разумеется. То есть пока ещё нет, но я планирую завести собственный ансамбль для вечерних выступлений в ресторане. Музыкальный фольклор нашего острова всегда, знаете ли, привлекал внимание путешественников, не говоря уже о песнопеньях корсаров... Вам приходилось когда-нибудь слышать?»

«Пиратский фольклор?» — спросил курортник.

Хозяин запел:

«Приятели, смелей разворачивай парус. Йо, хо, хо!.. Старинный гимн семнадцатого века. Его исполняли, выходя в плаванье... Несколько архаического язык, вы не находите?»

«А дальше?»

«Одних убило пулями, других сразила старость. Йо-хо-хо, всё равно — за борт!»

«Нет, нет, — поспешно сказал курортник. — Я хочу сказать, обыкновенная музыка, европейская. Ну там, Моцарт...»

«Моцарт. О!» — сказал администратор.

В номер внесли граммофон с зелёным целлулоидным ратрубом, похожим на половой орган некоторых растений, и грудку пластинок в полуистлевших конвертах. Администратор хотел было завести машину, но, увидев, что больной дремлет, на цыпочках двинулся из комнаты. В дверях он обернулся. Больной, не открывая глаз, плачущим голосом в третий раз осведомился об Иларии.

Всё шло как нельзя лучше, его ждали в гавани, капитан был трезв, как стёклышко. Увидев гостиничный джип, капитан приказал разводить пары. Ударил пушка. Пароход отвалил от причала; единствен-

ный пассажир стоял на корме под хлопающим флагом всех цветов радуги, любуясь песчаными берегами, кущами пальм и плоской, тающей в белёсых далях головой вулкана. Вскоре, однако, пришлось удалиться в каюту, началась качка. Переезд через бурный пролив отнял много часов, измучив курортника. Была ли это морская болезнь или рецидив прежнего недомогания, месь Южного полушария? По прибытии на Большой остров оказалось, что рейсы в Европу отменены в связи с ремонтными работами в аэропорту. Пассажира заверили, что в понедельник он сможет вылететь. Врач, приглашённый в гостиницу, не мог понять, что с ним, и предложил лечь в больницу; турист отказался, и к ночи ему стало ещё хуже.

В номере не было кондиционера, он лежал без сна под марлевым пологом в душной тьме, обливаясь потом, под уханье музыкальной турбины и визг женщин: звуки доносились снизу из ночного бара. Всё наладится, думал он, как только удастся пересечь экватор. Курортнику представлялось, что его мозг разбух до размеров комнаты. Мозг уже не умещался в гостинице. Его холмы и извилины спускались к океану. Это был тяжёлый мозг Земли, её южная половина, переполненная густой, чёрной, горячеей и пульсирующей кровью.

Приподнявшись, больной откинул полог и упал без сил на постель; в ту же минуту дверь номера приоткрылась, в проёме стояла тёмная фигура. Он подумал, что видит её во сне или в бреду и что это сама смерть отыскала его в жалком отеле. Что тебе надо, спросил он. Она не ответила. Он повторил: «Что тебе здесь надо?» Молодая негритянка в красном платье, надетом — это можно было заметить — прямо на голое тело, уперев руки в крутые бёдра, покачиваясь, подошла к постели. Свет падал из коридора. Они смотрели друг на друга.

«Так я и думала, что здесь кто-то есть, — проговорила она. — вот и прекрасно. Что скажешь?»

«Что я должен сказать?» — спросил больной.

Она передёрнула плечами.

«Тебя нет, — сказал курортник, — это только сон. Не пытайся меня обманывать».

«Ты не спишь, — возразила она. — А раз ты не спишь, то нечего валяться».

«Что же мне ещё делать?»

«Пошли к нам».

«Куда это, к вам?»

«К нам: туда. Сегодня спать не положено. Никто не спит. Сегодня праздник»

Он спросил, какой праздник.

«Сама не знаю, — сказала она, смеясь. — День освобождения или как там. Не всё ли равно».

Он тоже усмехнулся. «Ты говоришь, день. А сейчас ночь».

«Мы празднуем с утра до утра. А вообще-то у нас каждую ночь праздник».

«Весело живёте», — заметил курортник.

«А чего горевать. Ну, если не хочешь идти танцевать... — Она присела на край кровати. — Хочешь меня иметь?»

Больной не знал, что ответить, он смотрел на её сверкающие в полутьме глаза и зубы и, наконец, пролепетал:

«Ты кто? Ты откуда взялась? Ты — смерть?»

Она встала.

«Скажешь ещё! Смерть... Посмотри, разве я не хороша? — Она гладила себя по груди и бёдрам. — Дай-ка руку...»

Он не давался.

«К твоему сведению, — сказала она надменно, — я совершенно здорова. Могу справку показать».

«Зато я болен», — возразил он.

«Э, ерунда. Пройдёт».

«Я решил вернуться», — сказал он.

«Куда?»

«Туда, откуда приехал».

«В Париж? Ты парижанин?»

«Да нет же, — поморщился курортник. — Я решил вернуться на остров. Чешуйчатый остров, знаешь такой?»

«Понятия не имею».

«Когда я заболел, то она меня вылечила. Теперь у меня повторилось, здесь мне делать нечего, в больницу я не хочу, они всё равно ничего не понимают; а она меня поставит на ноги». Он выпалил это единым духом, как будто убеждал себя самого; монолог утомил его.

«Она меня...» — повторил он, тяжело дыша.

«Кто это она?»

«Её зовут Илария», — сказал курортник.

«Понимаю. У тебя там возлюбленная, и ты хочешь к ней вернуться. А она тебе, может, уже изменила».

«С кем?» — спросил он удивлённо.

«Почём я знаю. Ты не хочешь меня иметь, хочешь сохранить ей верность, зачем же ты её бросил? Думаешь, она тебя там ждёт? Она, наверное, тебе там уже отомстила, а ты хочешь быть верным...»

Курортник молчал, и она добавила:

«А я, между прочим, знаю секреты».

«Спасибо».

«У вас там никто понятия не имеет. Только наши женщины их знают. Даю слово: не пожалеешь».

«В другой раз», — вяло сказал курортник, который устал от долгого разговора. Утром он потребовал отвезти его в порт, и снова ему повезло: пароход готовился к отплытию. Океан успокоился. Джип ждал гостя, словно блудного сына, но на полдороге курортник велел остановиться; пришлось нести его на носилках.

Администратор подошёл к приступке, на которой стоял граммофон, отыскал пластинку с колыбельной Моцарта. «Не беспокойтесь, — сказал он, — за ней послали. Она в деревне... у дяди».

«У какого дяди?»

«У неё есть дядя. Прошу покорнейше извинения. Согласно порядку, необходимо внести аванс...»

«Аванс? — переспросил больной. — Ах да». Он хотел сказать, что не рассчитывает оставаться на второй срок и покинет гостиницу, как только ему станет легче. Но не было сил и охоты вступать в объяснения. «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни...» Он отвечал, что у него нет наличных; нельзя ли заплатить по карточке? Администратор возразил, что давно уже собирается перейти на безналичный расчёт, надо, сказал он, шагать в ногу с временем. Впрочем, он попытается связаться с отделением *Crédit Lyonnais* на Большом острове. «Птички уснули в саду». Администратор отвернул звукосниматель и снял пластинку. «Разрешите взглянуть... о, евровиза. Удобная вещь. В любом конце мира. Лишь бы было что тратить, хе-хе. Если вы согласны доверить мне вашу карточку, разумеется, на короткое время, я всё улажу. Гарантирую абсолютную *discretion*... Позвольте знать: в каком банке вы держите ваши средства?»

VI

Курортник отказался от ужина. Он попросил поставить музыку рядом с постелью и забылся под звуки Маленькой ночной серенады. Игла съехала с пластинки и остановилась; наступил вечер, Иларии всё ещё не было. В номер заглянул хозяин, чтобы спросить, не надо ли чего, пожелал больному спокойной ночи и, потушив свет, удалился. Мёртвая тишина воцарилась в цитадели пиратов, слышно было, как бессонный океан целует прибрежные камни. Совсем не то, что в гостинице на Большой земле, подумал больной, но теперь ему не давали уснуть голоса молчания. То и дело казалось, что кто-то крадёт по коридору, кто-то с кем-то переговаривается шепотом, скрипит дверь. Люди ходили по комнате. Царёк-администратор совещался вполголоса с шофёром и капитаном парохода, надо ли сообщить приезжему, — что сообщить, спросил курортник, и хозяин отеля ответил, что новость весьма неприятная, лучше отложить её до утра. Курортник хотел спросить,

знает ли об этом Илария, — тс-с! — прервал его администратор и на цыпочках, балансируя руками, двинулся прочь. В дверях он поспешно посторонился, чтобы пропустить высокую крутобедрую негритянку, мельком оглядел её с головы до ног, слегка присвистнул и покачал головой; администратор не одобрял ночных визитов, но в то же время не мог скрыть впечатления, которое она произвела в своём шёлковом платье, под которым ничего не было. Очевидно, там, на материке, всё ещё продолжался праздник в честь Дня освобождения.

Какая настойчивость, подумал курортник и объяснил, что не может ехать, так как только что услышал неприятную новость, от него хотели скрыть, но он догадался. Э, ерунда, возразила она, смеясь, мало ли что наговорят. Но никто ему ничего не говорил, он сам догадался, сказал курортник. Ты всё думаешь о своей возлюбленной, сказала она с упрёком, а твоя возлюбленная знать тебя не хочет. Ей всего пятнадцать лет, возразил курортник. Это всё равно, ответила она, здесь выходят замуж и раньше, когда совсем ещё ничего нет, ни груди, ни зада. Жди, когда всё это ещё вырастет, добавила она, самодовольно оглядывая себя и разглаживая обеими руками платье. В этот раз она была не в красном, а в белом. Протри глаза, сказала она, разве я не гожусь для тебя, хочешь иметь меня прямо сейчас? Ты ещё не пробовал с чёрными женщинами; мы кое-что умеем, ваши бабы об этом даже понятия не имеют. Турист отвечал, что он болен, к тому же в номер могут войти; в самом деле, было уже светло, в отеле слышались голоса. В дверь постучали.

Несмотря на беспоконную ночь, больной чувствовал себя значительно лучше, он с аппетитом позавтракал, хотел даже встать, но подчинился совету хозяина: разумнее было провести хотя бы ещё один день в постели. С помощью сиделки курортник шагнул в резиновую ванну, администратор деликатно вышел, Илария, с кувшином в руках, встала на стул. Изумрудная струя полилась на голову, лицо и плечи больного, от сильного аромата у него закружилась голова, он схватился за горничную, и оба чуть не упали. «Дай мне кувшин, — проворкотал он, — я сам...»

Она сказала: «Повернись». На животе у больного выступили розоватые пятнышки. Она сделала ему знак расставить ноги, там тоже была сыпь. Но самочувствие, как было уже отмечено, улучшилось. Она вытерла ему лоб, щёки, подбородок, старательно осушила его исхудавшее тело, протёрла под мышками и в паху, причесала волосы. Счастливый, слегка растревоженный и покрасневшийся, он лежал на высоких подушках, девочка сидела рядом и поила его питьём, которое теперь показалось ему вкусным. Ты тоже вся мокрая, сказал он.

Он добавил: «Там висит халат».

«Не смотри, зачем смотришь», — сказала Илария.

Она сбросила то, что было на ней, и сняла с плечиков его купальный халат. Со своего ложа больной простирал к ней руки, она покорно поворачивалась, он помог ей обернуть халат вокруг тела. Она завязала пояс, подоткнула полы, из-под которых показались её крошечные ступни, и засучила рукава на тонких желтовато-смуглых руках. Одевание развеселило обоих.

«Хочешь, — сказал курортник, — я возьму тебя с собой?»

Она молчала.

«Поедем со мной, Илария!»

«Тебе нельзя. Ты больной».

«Но я уже почти выздоровел. Ты меня вылечила».

«Ты больной, — повторила она. — Тонтон придёт, тебя вылечит».

Зачем мне тонтон, хотел сказать курортник, но тут появился хозяин отеля. «О, я вижу, вы молодцом, — сказал он, потирая руки, — ещё денёк-другой, и сможете выходить. А у меня к вам дело». Он слегка поднял брови, провожая глазами горничную, забавно выглядывшую в одеянии гостя.

«У меня к вам... — промолвил администратор, садясь возле ложа. — Но, может быть, лучше отложим этот разговор, пока вы окончательно не поправитесь?»

«Она говорит, что придёт тонтон», — заметил курортник.

«Вы порозовели. Вероятно, у вас повышена температура, но это к лучшему».

«Мне кажется, он мне совсем не нужен. Кто он, собственно, такой?»

«Вам нужно немного окрепнуть».

«Кто он такой?»

«Это её дядя. Я велел ему придти. Видите ли, вообще говоря, местные болезни должен лечить и местный лекарь. Европейская медицина тут бессильна».

«Вы хотите сказать: медицина Северного полушария?»

«Можно назвать её и так».

«У меня к вам просьба, — проговорил неуверенно курортник, — тут ко мне приходила одна женщина, вы, наверное, видели... одна негритянка с Большого острова. Будьте добры, распорядитесь, чтобы её больше не впускали».

«С Большого острова? — удивился администратор. — Как это так, ведь пароход больше не приходил. Кто такая?»

«Понятия не имею. Пожалуйста, — попросил курортник. — Я не хочу её видеть».

«А вы уверены, что видели её?.. Я хочу сказать — что она действительно вас навещала? Впрочем, кто бы ни была эта дама, если это, э...

в порядке специальных услуг, то в отеле предусмотрено собственное обслуживание. С гарантией медицинской безопасности. Вы понимаете, что я имею в виду».

«Понимаю, — сказал курортник. — Так что же это за дело, о котором вы хотели со мной поговорить?»

«Принимая гостей, мы берём на себя ответственность за их здоровье».

«Конечно. Так, э-э...?»

Администратор молчал.

«Что-нибудь связанное с той новостью?»

«Разве вы уже слышали?»

«Не то чтобы слышал, но...»

«К сожалению, — сказал администратор, потирая колени, — к большому сожалению, мои опасения подтвердились».

Он заговорил о преимуществах жизни на острове. Волнения мира доносятся досюда, словно дальнее эхо. А какое благословение жить без телевизора, ведь это настоящий бич нашего времени. Но что значит — наше время?

Задав этот вопрос, он поглядел на больного, как будто ждал от него ответа или искал правильную формулировку; наше время, сказал он, это наше, а не чьё-то там — в Гонконге или в Токио. Слава Богу, мы живём вдали от волнений мира. По-настоящему надо было бы назвать Святую Иларию островом Блаженных. Курортник, усмехнувшись, заметил, что так называли — если он не ошибается — потусторонний мир. Нет, возразил хозяин отеля, вы не ошиблись. Только неизвестно, по какую сторону он находится: по ту или эту.

«Местный фольклор?» — улыбнулся курортник.

Администратор рассеянно кивнул, он думал о другом.

«Что я хотел сказать... — пробормотал он. — Разумеется: нам тут до всего этого нет никакого дела».

«До чего?» — спросил курортник.

«До того, что происходит в Токио. А теперь уже и в Сингапуре... и вообще на дальневосточных биржах. Тем не менее как предприниматель я обязан быть в курсе дела... Тем более что это уже третье падение за последний год. Но на этот раз...» — он покачал головой.

На этот раз курс акций в Сеуле упал чуть ли не на двадцать процентов. А в Токио? — спросил курортник. В Токио катастрофа, сказал администратор. Сегодня утром ему сообщили, что индекс «никкей» снова снизился почти на тысячу пунктов. На биржах паника. В ответ курортник заметил, что ему не нужно объяснять, чем вызвано беспокойство хозяина гостиницы: видимо, он боится, что крах на бирже мо-

жет привести к обесценению валюты. Уже привёл, вздохнул администратор. Южнокорейский вон не дотягивает и до половины прежней стоимости. А что касается иены...

«Да, но ведь иена... А доллар?»

«Ах, что вы в этом понимаете», — сказал в сердцах администратор.

«Допустим, — сказал курортник. — Но какое отношение...»

«Никакого! Никакого отношения к нам это не имеет. Кто вам сказал? Смею вас заверить. Мы живём на краю света, более безопасного места придумать невозможно».

«Вот и прекрасно. Не вижу оснований для спора».

«Нет, меня интересует, кто это сказал! — кипятился администратор. — Кто посмел нарушить покой...»

Курортник успокоил хозяина.

«Ага, — сказал администратор, выглядывая на балкон, — небо очистилось. Будет ясная ночь».

Он склонился над больным. Курортник лежал, подложив руки под голову.

«Беда в том, что мы тоже относимся к иенной зоне. Ну и...»

«Договаривайте».

«Естественно, что это отражается на платежах».

«Я свои средства храню в Лионском Кредите», — заявил курортник.

«Совершенно верно. Но все счета заморожены».

«Как это, заморожены?»

«А вот так. Если там вообще что-то осталось. Увы! Дорогой мой... — Администратор прижал ладони к сердцу. — Вы доверили мне ведение переговоров. Я снёсся с Большим островом. Несмотря на то, что они не признают моих прав на Святую Иларию. Но мы и формально им не принадлежим. Формально мы относимся к Реюньону. Только, знаете ли, делать запрос через Реюньон, это такая волокита... Одним словом...»

«Pardon, — прервал его курортник, — вы хотите сказать, что...»

«Вот именно, — сказал король сокрушённо, — это я и хочу сказать. Если называть вещи своими именами, то в настоящий момент вы, дорогой мой, неплатёжеспособны. О, я приношу тысячу извинений...»

Курортник бормотал: «Ничего не понимаю. Как же так... Но причём тут...» Администратор участливо вздыхал, сидя возле больного. «Послушайте, — сказал курортник. — Означает ли это, что я теперь не смогу уехать?»

«Пока что, пока что... Сугубо предварительно!» Турист видел, как он плавно, словно паря над полом, удаляется из комнаты. И, как это

бывает в низких широтах, почти мгновенно спустилась тьма, плеск океана слабо доносился снаружи и в то же время был рядом, как будто вода колыхалась вокруг ложа.

Больной поднял отяжелевшие веки и увидел тёмную фигуру в просвете балкона. Тонтон стоял спиной к лежащему, запрокинув голову, и смотрел на Южный Крест. Скрипнула дверь, и вошла, прикрывая свечу ладонью, Илария. Тонтон вступил в комнату. Это был тощий полуголый старик.

Больной попросил зажечь свет. Но оказалось, что электричество не работает, ток отключён на всём острове. Старик сидел на корточках, опираясь на приступку, и курил трубочку. Что будем делать, спросил курортник, но он плохо владел креольским языком, и тонтон вопросительно взглянул на племянницу; она перевела вопрос, старик вынул трубку изо рта и кивнул лысой головой. Под слабым дуновением бриза задрожал лепесток пламени. Мне холодно, сказал больной. В следующую минуту старик-тонтон исчез из комнаты. А кто же будет меня лечить, спросил курортник и не услышал ответа; мне холодно, сказал он, подойди ко мне. Она медлила, что-то прибирала на приступке. Иди сюда, выговорил курортник, стуча зубами от озноба. Илария послонила пальцы и загасила мятущийся огонёк. Из мрака выступил балкон. Ярко-серебряные звёзды стояли над крепостью пиратов, над островом. И остров, которым они владели, был всё ещё не исследован.

Всё, о чём говорил администратор гостиницы, обманчивость расстояний, причуды рельефа, замысловатый рисунок береговой полосы, — всё это нужно было измерить и исходить своими ногами, постичь собственными усилиями, а времени оставалось мало. Главное — успеть, говорил администратор.

А-а, это ты хорошо придумала, умница, расстелить халат поверх одеяла, сказал курортник и подвинулся, чтобы дать ей место, какая-то на редкость холодная ночь, разве бывают в этом климате такие ночи? А звёзды? Заметь, продолжал он, здесь другой небосвод: разумеется, мы и так знали, что над Южным полушарием нет знакомых нам созвездий, но надо это увидеть, надо увидеть звёзды своими глазами. Подняться к потухшему вулкану и охватить одним взглядом огромное незнакомое небо, увидеть тебя всю разом, с подтянутыми к подбородку коленками, с ладонями, прижатыми к щекам. Увидеть глубокую впадину твоей галии, крутой подъём бедра и одиночество ягодиц. Повернись ко мне, как поворачивается земля под ногами идущего, вот твои возвышения, острые, как шипы.

Вот твои холмы и тёмнеющие овраги, подъёмы и спуски, тропа среди душных зарослей, запах цветов, мерцающий свет в глубине.

Ночь Египта

Ausa et jacentem visere regiam
Vultu sereno, fortis et asperas
Tractare serpentes, ut atrum
Corpore combiberet venenum...¹

Hor. Carm. I, 37

Покорно прошу особу, избравшую
эту тему, пояснить мне свою мысль:
о каких любовниках здесь идёт речь,
perché la grande regina n'aveva molto...

Пушкин

Здесь приводятся новые сведения о Клеопатре VII или VIII (будем придерживаться второй, уточнённой нумерации). Вновь обнаруженные источники, прежде всего так называемый Эсуанский кодекс — демотический папирус, ныне хранящийся в Нью-Хейвене (США), поставив ряд новых вопросов, позволяют прояснить некоторые обстоятельства жизни и смерти последней египетской царицы. В частности, подлежит пересмотру полуапокрифическое известие о любовниках Клеопатры, согласившихся принять смерть в обмен на её благосклонность.

Рассказ, будивший воображение поэтов, сбрасывает, если можно так выразиться, литературную листву — остаётся облетевшее древо: то, что некогда цвело и благоухало подлинной жизнью.

Встаёт вопрос, что же всё-таки ближе к утраченной действительности: имитации поэтов и беллетристов или реконструированные научкой элементы биографии? Вспомним, что греческое слово «биография» буквально означает жизнеописание. Нужно отдать себе отчёт в том, что теплота реальной жизни нам недоступна; приходится довольствоваться пересказом написанного, анализом переданного с чьих-то слов, разглядыванием запечатлённого в более или менее стилизованных изображениях.

¹ ...взглянув бестрепетно на опустевший дворец, решившись погибнуть смело прижав к себе змей, чтобы выпить телом чёрный яд. *Гораций*, Оды, кн. I, 37.

Рассказ о любовниках царицы, как известно, содержится в книге «О знаменитых мужах Города Рима», которую приписывают Сексту Аврелию Виктору, префекту Паннонии и второразрядному историографу эпохи императора Юлиана Отступника. Вот это место (*De vir. illustr. Urbis Romae, LXXXVI, 1–3*).

«Клеопатра, дочь фараона Птолемея, изгнанная своим братом и супругом, которого тоже звали Птолемей, за то, что она замыслила обманом отнять у него царскую власть, воспользовавшись гражданской войной, прибыла к Цезарю в Александрию; под покровительством Цезаря, благодаря привлекательной внешности и тому, что она была любовницей Цезаря, она полновластно правила птолемеевым царством. Она отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти. Впоследствии, потерпев поражение от Антония, вступила с ним в связь, притворилась, будто собирается устроить по нему поминальную тризну, и погибла в его Мавзолее от укусов ядовитых змей, прижав их к телу».

Мы не знаем, к каким источникам восходит это известие. Возможно, историк имел доступ к архивным материалам, компрометирующим царицу. Как бы то ни было, вновь полученные данные заставляют критически отнестись к версии Аврелия, который жил на четыре столетия позже Клеопатры. Отметим, что красавицей она не была. На монетах, которые чеканились в годы её совместного правления с младшим братом и формальным супругом Птолемеем XII, изображена мужеподобная особа с длинным крючковатым носом, — как бы в насмешку над фразой Паскаля о том, что история Рима сложилась бы иначе, будь нос Клеопатры на полдюйма длиннее. Зато она отличалась умом и образованностью, владела многими языками, между прочим, безукоризненно говорила по-египетски, чего нельзя сказать о других представителях македонской династии Лагидов, правившей Египтом.

Для начала подытожим известные факты. Василисса Клеопатра Теа Филопатор, что означает «Богиня, Любящая Отца», вступила на трон в 51 году до Р.Х., в это время ей было восемнадцать лет. Её брату и мужу Птолемею было десять. Её правление было омрачено недородами в годы 47, 41 и 40. Фараон Птолемей XI Новый Дионис, её отец, знаменитый своим распутством, оставил государству долги; феноменальное расточительство юной царицы, пиры и увеселения, щедрые субсидии жрецам и храмам, содержание бюрократии, армии и флота, двора и многоголовой челяди должны были окончательно разорить казну.

Этого, однако, не произошло. Богатство не убывало до самой смерти базилисы и окончательного присоединения Верхнего и Нижнего царства к Риму. Государственные кассы пополнялись за счет нало-

гов и податей. Двести восемнадцать различных налогов платили египтяне откупщикам, тут был налог за пользование землей и оросительными каналами, за семена, скот и инвентарь, на содержание флота и Фаросского маяка, полиции, врачей, бань, храмовые сборы и пожертвования, сбор на золотую корону при восшествии властителя на престол и многое другое. Всё вместе давало в среднем 15 тысяч талантов в год. Без зазрения совести, по указанию царицы, чиновники изымали состояния впадших в немилость магнатов. Наконец, немалый доход приносили земельные владения и торговые операции, в которых участвовало правительство. Несмотря на общий упадок хозяйства, держава Птолемеев всё ещё производила огромное количество зерна, излишки вывозились в другие страны. Из финикийских портов шли по караванным дорогам далеко в глубь Азии египетские ткани, женские украшения, ценные породы камня, стекло и папирус. По каналу из Нила в Красное море, обогнув Аравию, корабли плыли в Индию, а у входа в Александрийскую гавань, где теснились торговые суда со всего Средиземноморья, стоял негаснущий стодвадцатиметровый маяк.

Ни одного бунта не известно за 20 лет правления Клеопатры, трёхмиллионный народ Египта терпел всё. В голодные годы происходила раздача хлеба и риса — недавно завезённого злака. Блеск и непостижимое очарование богини-басилиссы поддерживали внутреннее спокойствие. Пожалуй, и страх перед римским гарнизоном.

Вскоре после воцарения Клеопатры старший сын Помпея Велико-го высадился в Александрийском порту и объявил мальчика-фараона единственным повелителем Египта. Аврелий Виктор говорит, что Клеопатра была изгнана. Это верно: низложенная царица бежала на Ближний Восток, чтобы там набрать войско и вернуть себе трон. При Фарсале, 7 июня 48 года, Юлий Цезарь победил Помпея. Несколько времени спустя римская флотилия из тридцати пяти кораблей, с двумя легионами и конницей прибыла в Александрию. Клеопатра тайно вернулась в столицу, ночью, под покрывалом, пробралась во дворец. Когда Цезарь, призвав к себе Птолемея, предложил помириться с сестрой, юный фараон с криком «Измена!» выбежал на площадь, на глазах у сбежавшихся горожан сорвал с головы диадему и швырнул её оземь. Цезарь утихомирил толпу, солдаты увели Птолемея. С небольшими силами Цезарю пришлось начать военные действия против взбунтовавшихся александрийских жителей и частей египетской армии. Мальчик в золотом панцире погиб в мутных водах Нила, исход краткосрочной войны эллинистической державы против римской сверхдержавы был решён. Клеопатра вновь объявила себя царицей. Её титул был изменён, она стала называться Младшей Богиней, Любящей

Отца и Любящей Отечество. Новым супругом и соправителем стал второй, самый младший брат Птолемей XIII Отцелюбивый. Два года спустя он был убит.

Цезарь отбыл в Рим, Клеопатра родила сына, которого нашли похожим на римского властителя. Жрецы установили, что сам Ра, приняв облик Цезаря, зачал младенца. Народ дал ему прозвище Καίσαρος, Цезарёнок; будущий фараон был наречён Кайсаром, Любящим Отца, Любящим Мать. Но сам предполагаемый отец не пожелал признать его своим сыном. В отношениях с египетской царицей сухой и властный Цезарь был политиком; экспансивный Марк Антоний, о котором речь ниже, — восторженным любовником.

В 44 году царица вместе с братом и трехлетним мальчиком пожаловала в Рим, официально — с целью заключить военный союз с Римской республикой. Гостей препроводили на виллу Цезаря в садах за Тибром. Цицерон явился на поклон к ненавистной египтянке, прославленный тенор Гермоген пел для высоких гостей.

Цезарь воевал в Африке и в Испании. Вскоре после возвращения, утром 15 марта, перед заседанием в сенате некто Артемидор преградил дорогу правителю, вручив ему донесение о заговоре. Цезарю некогда было читать, со свитком в руке он вошел в сенат и не успел сесть в кресло, как был окружен республиканцами. Каска первым нанес удар, но неудачно, Цезарь схватил его за руку. Сенаторы, оцепенев от страха, не поднялись со своих мест. Заговорщики с мечами набросились на Цезаря, Брут ударил его в пах. Тело диктатора лежало у подножья статуи Помпея, убийцы добивали полумертвого, и многие в суматохе ранили друг друга.

Египтянке пришлось срочно отбыть восвояси. Цицерон, которому тоже оставалось жить меньше года, злорадно писал другу: «Бегство царицы меня не слишком огорчает» (*reginae fuga mihi non molesta est*). Все же было бы преувеличением сказать, что Клеопатра вернулась, выражаясь современным языком, не солоно хлебавши.

По прибытии был отдан приказ тайно умертвить брата-супруга; новым соправителем объявлен мальчик Птолемей XIV Кайсар, Бог, Любящий Отца, Любящий Мать, — живая память о Цезаре. В Филиппах Марк Антоний разбил республиканскую армию Брута. Без колебаний было решено поставить карту на победителя; испросив совета у богов, Клеопатра во главе своего флота поплыла навстречу Антонию. Встреча не состоялась; буря у берегов Ливии едва не погубила всю армаду. Потеряв большую часть кораблей, базилисса повернула обратно, шли наугад, пока не мигнул в тумане кроваво-красный глаз маяка на Фаросе. Клеопатра недолго оставалась в Египте. Деллий, доверенное

лицо триумвира, склонил царицу отправиться на свидание с Антонием в Киликию. Затем ещё одна встреча в Антиохии, и, наконец, Антоний, не взирая на то, что жена ждёт его в Риме, сочетается браком с базилиссой.

В Городе скрипят зубами. Марк Антоний — самый могущественный человек на римском Востоке. Летом или осенью 36 г. у великой царицы родился ребёнок (из всех детей Клеопатры царицу пережила лишь дочь, Клеопатра IX Луна, которую выдали замуж за мауретанского царька). Кое-как закончив затяжную войну с Парфянским царством, Антоний празднует сомнительную победу, но не в Риме, где его не любят, а в гимнасиуме Александрии. Грандиозное шоу, смесь Запада с Востоком. Перед зрителями, на серебряном помосте — фараон Клеопатра в образе богини Исиды и римлянин в одеянии Осириса, на тронах пониже — их дети. Речь Антония, не слишком искусного оратора, представляла собой род правительственного заявления: Клеопатра, в качестве «царицы царей», владеет обоими царствами Египта и коронными провинциями Птолемеев Кипром и Кириной; сын базилиссы Птолемей Кайсар, «царь царей», — её соправитель, муж и наследник; младенец Птолемей Филадельф, сын Клеопатры и Антония, — повелитель Финикии, Сирии и Киликии; сам Антоний — патрон Египта и тоже в некотором роде супруг.

Медовый месяц в Александрии. В стране голод, во дворце пиры и празднества. К этому времени можно приурочить основанные на дворцовых слухах, глухие упоминания современников об экспериментах с ядами. Напомним, что эпоха последних Птолемеев — время расцвета медицины. Правило, установленное шестнадцать веков спустя Парацельсом, о том, что всякий яд есть лекарство и всякое лекарство — яд, было хорошо известно древним.

Клеопатре за тридцать; халдеи предсказывают ей трижды продолжительное правление против времени, которое она уже провела на троне. Клеопатра все еще неотразима. Описание её туалета заняло бы несколько страниц. Омовения, притирания, ароматные ванны, омолаживающие снадобья. Массаж груди, массаж ягодиц, живота и паха, нередко завершаемый тем, что царица призывала к себе красивого отрока-раба из мужского гарема.

Μεγάλη τύχη της ανικτήτου νεωτέρας! Велик удел Непобедимой Младшей!

Второй триумvirат оказался ещё недолговечней, чем первый. «Сенат и римский народ поручают Октавиану, ради блага республики, освободить мир от присутствия Марка Антония». Такова была сенатская формула, развязавшая руки приемному сыну покойного Цезаря и будущему принцепсу. Сражение при Актионе у берегов Эпира решило судьбу Антония, да, пожалуй, и судьбу царицы.

По-видимому, Клеопатре принадлежал план разбить Октавиана на море, а не на суше. Антоний стянул значительные силы — около пятисот военных кораблей. У входа в пролив стоял наготове египетский флот. Кроме того, под началом Антония находились стотысячная сухопутная армия, кавалерия — 12 тысяч всадников — и отряды союзных царьков. У Октавиана было всего 200 кораблей, 80 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы.

Несколько суток подряд штормовой ветер с Адриатического моря не давал приступить к делу. Перед рассветом 2 сентября 31 г. буря утихла, началась посадка легионов Октавиана на галеры. Обитые бронзой тяжелые греческие корабли Антония представляли серьезную угрозу для легких римских судов, у которых было преимущество маневренности. С башни флагманского корабля Марк Антоний выкрикивал приказы гребцам и солдатам у катапульт, рассчитывая вытеснить римлян из пролива, приказы передавались дальше; после чего предполагалось перенести военные действия на сушу. Но искусный флотоводец Агриппа сумел отрезать эскадру Антония от наземных войск. Клеопатра скомандовала распустить паруса; корабль фараона повернул в открытое море. Видя, что египетский флот уходит, Антоний на пятивёсельном судне догнал египтянку, предоставив богам заботу о своей армии.

Потрясение от разгрома было так велико, что супруги три дня не выходили друг к другу. Союзники и сателлиты оставили Клеопатру, фактически она владеет теперь лишь Египтом, куда не сегодня — завтра высадится рать Октавиана. Флотилия базилиссы приблизилась к берегам Африки. При подходе к Паратениону Антоний и Клеопатра расстались.

Царица продолжала путь к Нильской дельте. Антоний повернул на Запад. Его гонцы — в пути, он ждёт вестей с театра военных действий, а там давно уже нет никаких действий: командиры рассудили, что война потеряла смысл после бегства главнокомандующего. Армия капитулировала в итоге переговоров с офицерами Октавиана, который обещал солдатам Антония простить их и взять к себе на службу.

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.

План дворца фараонов на мысе у входа в Большой порт реконструирован довольно подробно. (От самого дворца ничего не осталось.) Правда, не вполне ясно, где находился тайный коридор, по которому, в разгар ночного праздника по случаю возвращения

в столицу ускользнула богиня базилисса, покинув чертог, душный от смрада масляных светильников, от человеческих испарений и аромата цветов.

Несколько времени спустя Клеопатра вышла на галерею. Над Александрийской косой сверкали, как ргуть, созвездия; точно так же сверкают они и сегодня. Царица спешит по галерее, мелко постукивают в полутьме её сандалии, её фигура, закутанная в белое, мелькает между порфирными колоннами, Впереди вышагивает вожатый с факелом, две рабыни встречаются перед входом в уединённый покой. Мы находимся (как можно понять из одного места в Эсуанском кодексе) в западном крыле огромного дворца.

Короткий отдых, мелкие поправки туалета — царицу оглядел, прищипывая и кивая, коротконогий толстяк, придворный модельер и законодатель вкуса. Служанки помогли расположиться на ложе, придали складкам полупрозрачного одеяния живописный и в меру соблазнительный вид. Теперь она словно позирует какому-нибудь мастеру итальянского Кватроченто. Некто с поклонами, опустив глаза, внёс плоды и напитки. Царица хлопнула в ладоши. Друзья, Критон и Шимон, входят.

О, эта ошеломлённость мужчин, восторг ценителей красоты, — подлинный или притворный? Где кончается ритуальное поклонение и вступает в права неподдельное чувство? Фараон Клеопатра слегка запрокинула птичью голову в парике, опустив наклеенные ресницы, рассмеялась клокочущим горловым смехом. Но на шее видны тонкие морщинки. Подогретое вино разлито по кубкам. Хозяйка и гости полулежат с трёх сторон низкого стола.

Здесь следует оговориться. Источники упоминают о регулярных встречах, не сообщая о том, что обсуждалось в философском кружке царицы. Недостаток сведений вынуждает прибегнуть к не вполне легитимному с научной точки зрения методу экстраполяции. Можно говорить о большей или меньшей степени соответствия.

Об участниках диатрибы, которая, как и всё в эту эпоху, представляла собой подражание, в данном случае — беседам в садах Академа, известно следующее. Еврей Шимон бен Йохаи, магнат, контролирующей торговлю рабами на рынках Кипра и Малой Азии, владелец верфей в Финикии, ювелирных мастерских на Босфоре, фешенебельных лупанаров в городах Италии, не однажды выручал базилисса в трудных обстоятельствах, финансировал строительные проекты, выполнял некоторые деликатные поручения правительства, о которых глухо упоминают хронисты. Не кто иной, как реб Шимон, предложил диойкету, то есть верховному казначею, изменить порядок коммерческих сделок: отныне

заморским купцам вменялось в обязанность, прежде чем закупать товары в Египте, обменивать в банках свои деньги на птолемеевские серебряные тетрадрахмы, золотые октодрахмы и трихрисоны. Приумноженная валюта потекла в царскую казну; обогатился и Шимон.

Хотя будущее, по уверению астрологов, у каждого человека может быть только одно, предсказания бывают различны от года к году; в 30-м году до нашей эры Шимону бен Йохаи предстояло дожить если не до возраста своих пращуров, то по крайней мере до первых лет правления императора Тиберия. (Как мы знаем, прогноз не оправдался.) Реб Шимон вошёл, постукивая посохом из палисандра. Это был грузный благообразный старик пятидесяти лет, смуглый, как все уроженцы Верхнего Египта, всегда в белом, в высокой шапке, прикрывавшей лысую голову, в длинной седеющей бороде, чрезвычайно учёный, многоопытный, никому не доверявший, коварный, великодушный, до смешного скупой и фантастически щедрый. Словом, личность почти легендарная.

Грек Критон, сын Аполлония Мегарского, второй собеседник царицы, был родственником знаменитого гистриона и комедиографа Артемисия (и его любовником) и представлял из себя 26-летнего напомаженного красавчика в обрамлении тёмных кудрей и подстриженной, торчащей вперёд бороды, которую он завивал и красил хной. Такая борода должна была производить неотразимое впечатление. Критон мог влюбить в себя любую светскую львицу, не взирая на сухую с детства ногу. Сегодня нашли бы в нем сходство с Тулуз-Лотреком, однако он не обладал его гением. Критон никогда ничего не делал и был вечно занят, ничего не дочитывал до конца и обо всём имел представление, усердно проедал отцовское состояние, был завсегдатаем александрийского *Σύννοδος Ἀδελφότητων*, клуба «неподражаемо живущих», где происходили оргии, но состоял и членом секты Целомудренных, где практиковались обряды, символизирующие оскотление. Многие сожалели о том, что он был лишён возможности появляться обнажённым в гимнасии, предложив всеобщему обозрению плечи, грудь и живот Антиноя (который, впрочем, жил много позже), прекрасно вылепленный член и полновесную мошонку. Зато он играл вместе с Артемисием на сцене. Кроме того, он был поэтом, автором эпиграмм, и, по мнению знатоков, не уступал знаменитому Адиманту (произведения обоих стихотворцев не сохранились). Что ещё можно сказать о Критоне? Половина известий о нём неотличима от сплетен.

Клеопатра подносит к губам вино, начинает беседу глубоким переливчатым голосом, тщательно соблюдая эллинские музыкальные ударения, которые уже в эту эпоху стали забываться. Ей хотелось бы, говорит она, обсудить вопрос: доказуемо ли бессмертие?

«Странно слышать это из уст великой базилиссы. Для неё, по крайней мере, такого вопроса не существует». И тёмнокаштановые кудри Критона повернулись к еврею, тот поглаживает длинную бороду, пошаривает волосатыми ноздрями.

«Думаю, будет лучше, — заметила борода, — если мы рассмотрим вопрос в общей форме, не касаясь присутствующих», .

«Что касается меня, то я не посягаю на нашу религию. Убеждён, что бессмертие существует», — сказал Критон.

«Твоё мнение, реб Шимон?» — спросила царица по-еврейски.

Иудей ответил по-гречески:

«Если о нас будут помнить через две тысячи лет, разве это не бессмертие?»

«Через две тысячи лет! Откуда тебе это известно?»

«Мне ничего не известно. Но я полагаю это весьма возможным».

«Мы говорим о реальном бессмертии!» — возразил Критон.

«Существуют разные воззрения на этот счёт. Те, кто высказывался на эту тему, в равной степени правы и неправы».

«Значит, истина остаётся недоказуемой?»

«Если исходить из того, что бессмертие существует, задача сводится к поиску доказательств. Но доказательства, в сущности, не нужны, так как решение предопределено посылкой».

«Ты не ответил», — сказала Клеопатра.

«Мне не хочется ссылаться на наши книги, где, впрочем, о личном бессмертии ничего не сказано, — я нахожу это благоразумным, — но позволю себе заметить, что новая секта, о которой мы слышим в последнее время, вновь возвестила устами своих учителей о телесной, а не символической реальности потустороннего мира. Не имела ли в виду великая царица это лжеучение?»

«Отнюдь нет. Впрочем, для нас в Египте это не новость...»

«Конечно. Но учителя этой секты толкуют не о переселении в иной мир. Они не отрицают смерти, но говорят о воскресении, которое якобы ждёт всех. Каждого человека, говорят они, будь он царь или смерд, ожидает воскресение из мёртвых и Страшный суд».

«Суд, за что?» — спросил Критон, подняв брови.

«За содеянное. Всех людей они делят на два разряда. Тот, кто причинял другим зло, будет наказан, и наоборот, для тех, кто творил добро, приготовлено блаженство. Они считают, что, хотя высшие силы всё знают заранее, человек свободен в своем нравственном выборе, поступает как ему заблагорассудится и, значит, должен ответить за всё».

«Довольно парадоксальная идея, — заметила царица. — Но это любопытно. Расскажи о них подробнее, Шимон».

«К сожалению, я не слишком об этом осведомлён и к тому же нечасто бываю в Палестине. Знаю только, что они скрываются, живут в пещерах. Они презирают земные блага, наслаждаться едой, питьём, соитием с женщиной, по их мнению, грех...»

«Что такое грех?» — спросил Критон, подняв брови.

Шимон бен Йохаи величественно втянул воздух в широкие ноздри. Взглянул на грека, не удостоил ответом.

«Благосостояние, по их мнению,— продолжал он, — зло, поэтому сильные мира сего поплатятся за своё богатство, а нищие восторжествуют. Кто был ничем, тот станет всем. Так они представляют себе бессмертие».

«Другими словами, хотят навязать богам свои представления о том, что хорошо, что плохо? — сказала Клеопатра. — Но я не понимаю, что тут нового. О том, что сердце умершего будет взвешено на весах истины, нам было известно с незапамятных времён»

«Какая тоска! — воскликнул Критон и отхлебнул из бокала. — Я лично представляю себе вечную жизнь иначе».

«Как?»

«Я считаю, что смерти не существует, но даже если бы смерть существовала, она не имела бы к нам никакого отношения».

«В твоём рассуждении есть логическая ошибка: смерть не может существовать, так как она представляет собой несуществование».

«Но в таком случае она не может и что-либо собой представлять!»

Еврей сказал:

«Не надо спорить о словах. Ты хочешь сказать, что отрицать бессмертие значило бы признать реальность смерти, хотя на самом деле смерть есть мнимость. Пока мы здесь, её нет, а когда она наступила, нас больше нет. Мы это уже слышали. Фраза Эпикура — ты ведь о нём думаешь — опять-таки не больше чем остроумная игра слов».

«Ответь мне, мудрый Шимон, — промолвила Клеопатра. — Ответь мне... — Она задумалась. — Если человека в самом деле ожидает бессмертие, если оно, так сказать, навязано нам, значит, напрасны попытки распорядиться собственной жизнью по своему усмотрению? Но не является ли единственным преимуществом человека перед богами то, что он может выбрать добровольную смерть, боги же совершить это не в состоянии?»

«Наш закон рассматривает самоубийство как тяжкое преступление».

«Вот как», — сказала она рассеянно, легко вздохнула, мельком оглядела себя. Следом за ней и мужчины скользнули глазами по её телу. Клеопатра негромко ударила в ладоши. Молча дала знак вошедшему.

Все трое наблюдали, как слуга, возвратившись с сосудами, разливал по кубкам новое вино, прибывшее из-за трёх морей.

Египтянка первая подняла свою чашу.

Грек Критон поднёс напиток к ноздрям, пригубил, чмокнул губами, возвел глаза к потолку.

Еврей, для которого ничего нового на свете не существовало, отведал вино, одобрительно наклонил голову.

Клеопатра сказала:

«Не странно ли, что, говоря о бессмертии, мы размышляем о смерти. И не потому ли, что одно отрицает другое, а вместе с тем невымыслимо без другого. Только покончив с жизнью, можно познать бессмертие. Так день нуждается в ночи, чтобы наутро начаться сызнова. Отсюда следует, что получить доказательство бессмертия можно только если умрёшь!»

Шимон бен Йохаи поднял густые брови, промолчал.

«Увы, — промолвила царица, — мы, кажется, снова оказались в ловушке слов».

«Есть вещи, которые стоят по ту сторону слов, — заметил Шимон. — Постигнуть их можно только внутренним созерцанием».

«Воля ваша, — смеясь, сказал Критон, — но поверить в смерть я никак не могу. Разве только признав, что смерть и бессмертие — это одно и то же. Но ведь есть способ прикоснуться к вечности при жизни».

«Какой же?»

«О, это... Это все знают».

«Но всё-таки?»

«Любовь. Соединение двух тел».

«Не будет ли правильной сказать, что сперва соединяются души, а затем тела?»

«Допускаю. А может, наоборот. Однако, — сказал Критон, — мы, кажется, отклонились от темы...»

«Напротив. Ведь сказал же Платон, что Эрос по природе своей философ и, как все философы, блуждает между мудростью и незнанием».

«Я думаю, он противоречит себе. Если не ошибаюсь, он говорит, что боги не занимаются поиском мудрости, ибо сами достаточно умудрены», — сказал Шимон.

«Но Эрос — не бог, а полубог, и я думаю, что в этом всё дело, — возразила царица. — Продолжай, Критон, мне интересны твои аргументы».

Красавец грек потупился.

«Аргументы? К чему они... К чему вообще все эти слова? — Он устремил влажный взгляд на египтянку. — Клянусь, — проговорил он. — Я никогда ещё не испытывал действие вина, подобное тому, какое чувствую сейчас».

Царица отослала раба-нубийца. Сама подлила мужчинам.

Критон пробормотал:

«Мне кажется, я грежу... Я не в силах рассуждать».

«Пожалуй, ты прав, — заметил Шимон бен Йохан, сурово взглянув на грека, — я эти вина знаю. Они усыпляют ум и возбуждают похоть. Ты грезишь о ней, вечно недоступной...»

«Разве это запрещено?» — спросил Критон и отхлебнул из стакана.

«Отнюдь. Но, кажется, был уговор не касаться присутствующих, — проговорила Клеопатра. — Или я неверно истолковала твой намёк, Критон? Отчего ты умолк?»

«Мне надо собраться с мыслями. Что такое вечность... Мне кажется, я приблизился к ней... и вот-вот переступлю порог».

«Приблизился? К чему ты приблизился, Критон?»

«Позволь, царица, — промолвил грек, — поднять этот кубок за то, чтобы мы и впредь наслаждались твоей беседой, и... и за то, чтобы вечно, вечно, вечно мы могли созерцать твою дивную красоту!»

Она ждала продолжения. Оратор смутился.

«Вино разожгло твою кровь. Лучше бы ты помолчал», — сказал иудей.

«Я понимаю, — пробормотал Критон, — этот пафос может показаться смешным...»

«Нет, отчего же», — возразила хозяйка. Она подняла насурмлённые брови, медленно обратила к нему глаза, искусственно удлинённые до висков. Ощущала ли она сама действие снадобья?

«Да, я утверждаю, — продолжал Критон, потирая лоб, — что человеку дано приблизиться к бессмертию в момент, когда он как бы восходит по лестнице, которая ведёт вниз. Когда, почти умирая, он скользит, и отступает, и снова скользит, и спускается по ступеням, и, содрогаясь, достигает последних глубин наслаждения, и... взлетает до самой высокой вершины экстаза...»

«Ты красноречив... Итак, ты считаешь, что тело женщины — это ворота смерти?»

«Это врата бессмертия», — прошептал Критон.

Царица усмехнулась

«Твои доводы нужно признать убедительными. Я нахожу, что таким образом нам удалось внести в предмет некоторую ясность... Но я должна прервать нашу беседу. Время на исходе».

В подтверждение этих слов издаലെка донёсса удар молотом о медную доску. Стража меняла посты.

«Я хочу сообщить вам кое-что. Но прежде допейте...»

Собеседники молча смотрели на базилиссy. Она сказала:

«Море спокойно. К полудню Римлянин будет здесь».

Реконструкция эпилога этой последней встречи представляет значительные трудности. Откапывание фактов из-под толщи всего, что насыпали и нагромоздили века, напоминает поиски уцелевших в развалинах после землетрясения. Стихи Горация слишком благозвучны, чтобы можно было считать их историческим документом. Однако поэт был современником Клеопатры. Что касается автора хроники «О знаменитых мужах...», то, как уже сказано, он писал её спустя четыреста лет. *Naec tantae libidinis fuit* (приведём ещё раз его слова), *ut saepe prostiterit, tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint*. «(Эта дама) отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти». Была ли у египетской царицы в самом деле необходимость продаваться? Разве только предлагать себя любовникам в обмен на их жизнь... По разным причинам рассказ Аврелия Виктора не заслуживает безусловного доверия. И всё же не стоит пренебрегать этим замечанием. Среди любовников царицы были властители тогдашнего мира; она в известной мере их погубила; в облике Клеопатры сквозят черты вампира.

Что нам известно об Аврелии? Он родился в римской провинции Африка около 320 г. нашей эры. Вопреки незнатному происхождению, сумел выдвинуться. Трактат *De Caesaribus*, единственный из помеченных его именем четырёх исторических трудов, о котором наверняка можно сказать, что он принадлежит Аврелию Виктору, обратил на себя внимание Юлиана, автор был представлен кесарю и получил должность префекта провинции Паннония с консульскими полномочиями. Ему было тогда примерно 40 лет — по римским понятиям, предел юности. До 388 года об Аврелии Викторе нет никаких известий; в этом году он стал очень важной персоной — префектом Вечного города Рима. Мы не знаем, когда он умер.

Имел ли в виду историк главную и, может быть, уникальную черту последней египетской богини-базилиссy, поставившей политику на службу своей необузданной чувственности, а чувственность — на службу политике? Волею обстоятельств, благодаря обширным владениям, морскому владычеству, древнему непоколебимому престижу, наконец, самодержавной воле Клеопатры VIII, Египет, рядом с которым Греция была подростком, Рим — младенцем, на закате своей трёхтысячелетней истории всё ещё оставался мировой державой. Но теперь Древний Вос-

ток должен был склониться перед античным Западом. Оружием царицы была её чувственность. Мы можем сказать (не боясь вызвать улыбку), что легендарное сластолюбие, широко раскинутые женские ноги — сделали эмблемой правления Клеопатры. Это было величественное, но и не лишённое комизма самодержавие пола. словно фантастический моллюск, царица обхватила щупальцами Цезаря, а следом за ним Марка Антония, стремясь всосать в себя властителя и его государство. Исход этих объятий известен.

Но уже началось увядание. Чувственность не угасла, о нет. Стало меркнуть телесное обаяние.

Когда базилисса известила друзей, что она покидает столицу в скором времени, точнее, в ближайшие часы, ещё точнее — до рассвета, эта новость была, по крайней мере для Шимона бен Йохан, не совсем неожиданной: экспедиционный корпус Октавиана должен был вот-вот высадиться в Александрии. О чём друзья и собеседники царицы, по-видимому, ещё не успели услышать, так это о синоде «умирающих вместе», который основали Антоний и Клеопатра, и самоубийстве Марка Антония.

«У меня нет ни малейшего желания, — сказала она, — трястись в тележке по грязным улицам Рима, под улюлюканье солдатни, когда Октавиан будет справлять триумф. Я уйду в изгнание. Думаю, что мы не увидимся в ближайшее время. Быть может, мы не увидимся никогда. Нет, нет, — поспешила она добавить, — не возражайте. Я уезжаю... Не спрашивайте, куда. Может быть, в Индию, по пути, который проложил мой великий предок. В сказочную Индию...»

И умолкла, глядя в пустоту. Встрепенулась.

«Однако я не могу с вами проститься, не одарив вас напоследок. Итак, какой же подарок вы хотели бы получить от меня?»

Гости молчали, ошеломлённые внезапным поворотом беседы, и она продолжала:

«Наш друг Критон, надо признать, прекрасный собою, только что недвусмысленно выразил чувства, которые он питает к своей повелительнице... Меня лишь удивляет, как это до сих пор я не нашла случая ответить его желаниям. Что ж! Я готова возместить упущенное. Я согласна — разумеется, лишь на краткое время любви — стать его рабыней. Но ещё меньше мне хотелось бы обделить тебя, Шимон бен Йохан. Я обязана тебе многим и хочу воздать тебе должное не как монархиня, но как женщина. Бросьте жребий — кто будет первым, кто будет вторым».

«Я жду», — повторила она, протянула руку, — кто-то из двух предложил ей помощь, — медленно поднялась и удалилась в соседний по-

кой, о котором достаточно будет сказать, что потолком для него служило большое серебряное зеркало, которое удваивало огни светильников, широкое ложе и тех, кто лежал на нем.

Грек подбросил кверху кубики из слоновой кости. Оба выпали одной и той же стороной. Он подбросил еще раз. Иудей склонил голову, выражая покорность богу, который правит богами, — Случаю. Тотчас до них донёлся слабый перебор египетской арфы. Критон засмеялся, прихрамывая, вышел. Он не возвращался. Снова послышалась арфа. Не спеша, постукивая посохом, Шимон прошествовал вслед за Критоном.

Немного погода она показалась снова, неся в своём лоне семя любовников, — вернулась с намерением допить вино и сойти, наконец, к подземному Нилу, поплыть в ладье усопших по чёрным водам, навстречу ночному солнцу. Но отставила питьё.

«Они уснули?» — спросила Клеопатра.

Раб, вошедший следом, ответил:

«Навсегда».

Он поставил у её ног плетёнку с травой, поднёс к губам флейту.

У египетской кобры Араз, чьё изображение и сегодня можно видеть на стенах храмов, короткие зубы, нанести колющий молниеносный удар она не может; Клеопатра, держа в ладонях, как плоды, свои тяжёлые груди, слегка раздвинула их, чтобы освободить место для укуса, и почувствовала, как челюсти змеи несколько раз сжались, сиюсь как можно глубже вонзить зубы; смеясь, царица упала на ложе, и несколько мгновений ожидания, когда подействует яд, показали ей вечностью.

Третье время

Tes cheveux, tes mains, ton sourire
rappèlent de loin quelqu'un que j'adore.
Qui donc? Toi-même.

M. Yourcenar. Feux¹

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жильё, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждёт других слов. Но нет, это всё те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, которое стоит на столе — и требует особого описания, пока о нём окончательно не забыли, — представляло собой с инженерной точки зрения регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим предком, а именно, экономило дефицитный керосин. Уничжительное название «коптилка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

Проще говоря, это была всё та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторённого в тёмном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, — к ним следует отнести прошедшие годы, — это тот же персонаж, который теперь описывает комнату, архаический осветительный прибор и склонённого над тетрадкой недоросля. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, словно зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в этот момент его застаёт наше повествование.

Жёлтый огонёк в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые чёрные останки, труп таракана в чашечке горелки. Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остаётся перечитать, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину.

¹ Твои волосы, твои руки, твоя улыбка напоминают мне издали кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. *Маргерит Юрсенар, «Огни» (фр.).*

Остаётся сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из употребления, письма сворачивали треугольником. Он, однако, сам склеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов насекомого, тем сильнее зудит и поёт в его душе восторг небывалого приключения. Чувство, которое испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встаёт. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.

Грёзы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далёкого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное. Всё изменилось, разве только лес и река под пологом туч остались как прежде; и мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; пытаясь подселить новые впечатления к тому, что живёт в памяти, мы совершили бы насилие над собой, надругательство над памятью, которая попросту не верит в обветшалую действительность и не желает её признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке, взъерошенный вид; перед тем, как дунуть на огонёк, он видит в окошке своё лицо, освещённое снизу, как у преступника. Он выходит из дому, вернее, сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день ещё будет стоять перед глазами. С него, похоже, всё началось. Она шагала в полушубке, в платке, из-под которого выбились её пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких чёрных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая в такт шагам, от бедра в сторону. Все эти мелочи... прежде он не обратил бы на них внимания. Когда он догнал её при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чём говорили, забылось, остался звук её голоса, морозный румянец, ослепительный день и то, как она шла — легко и уверенно ставя ноги в валенках по утопанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, какие в то время носили все женщины; шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводку, снова шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

В этот день что-то случилось; но когда же началась эта история? Всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на

нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, — и всегда другая, оттого что «факты» разбухают подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над всеми событиями. Ибо, как уже сказано, ничего в памяти не меняется, ни лес, ни дорога, по которой она шагала, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Всё как прежде, и если бы через много лет по неслыханному стечению обстоятельств мы увидели её снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, — возмущённая память отшвырнула бы её прочь.

В который раз воображая всё сызнова, — для чего не требуется усилий, достаточно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонёк на столе, перо, называемое «селёдочкой», с загнутым кончиком, стоит вспомнить, и тотчас придёт в движение весь механизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. Всё просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение: «я», «он», «тот самый»? Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повествование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не является. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-никак он сам, был «я». Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому входить не положено. Говоря «я», невозможно отделить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего.

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — окончательно утвердилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем фантастичней были его представления об этой профессии, тем прочней была эта уверенность. Предвкушение этой судьбы давно давало себя знать — в ту баснословную старину, обозначаемую словами «до войны» и от которой подростка отделяло, пожалуй, такое же расстояние, как от юноши до дремучего старца. Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное и даже ещё лучше, — когда она рождалась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные титры, как было принято в настоящем кино. *Это случилось в Париже, в один из тёплых летних вечеров 193... года.* Его литературные амби-

ции распространялись на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, учёные трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Всё становилось литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды переломилась от пола до потолка, и чьё-то лицо, освещённое снизу, подглядывает в окне. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под тёмным небом в оловянной ночи он брёл краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, — ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parlant sans parler*¹, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит во время карнавала, в полубреду, *sans responsabilité, ou comme nous parlons en gêve*². Разумеется, подросток никогда не слышал об этой книге. Но в конце концов все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала в коридоре инфекционного отделения, называемого зарезным бараком, на топчане рядом со столиком для дежурной сестры, накрыв ноги казённым одеялом, ни о чём не подозревая.

Но когда всё-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из первых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больничной обслуги, две-три женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что было больно смотреть. И кто-то уже сходил босиком, придерживая подол, к узкой песчаной полоске, а вдали, на тёмно-сверкающем просторе, вдоль кромки противоположного берега, длинная чёрная баржа тянулась следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название в полукруге над пароходным на колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение ничего не значащему, мимолётному эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что

¹ Говорить, ничего не говоря (*фр.*)

² Ни за что не отвечая, как мы говорим во сне (*фр.*). Т.Манн, «*Волшебная гора*».

было позже, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, — а ведь, может статья, на самом деле ничего такого и не было.

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперёд, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми плечами, в воде до начала грудей стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как её звали, с ещё не отросшими волосами. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях? Конечно, ту, которой стала позже.

Или, может быть, не тогда, на реке, когда она стояла, шурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, ещё слабая, круглоголовая, сама похожая на болезненного крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, — а ещё раньше зародилась эта история, в день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатуллина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке её наголо остриженная голова?

В те дни, после разгрома под Харьковом, армия панически отступала. Повторился кошмар молниеносной войны. Враг нёсся по степным просторам к Дону, после чего войска, наступавшие в южном направлении, прорвались к Кавказу. Горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили в каменную расщелину красное знамя с белым диском и свастикой. Другое полчище устремилось к излучине Волги. Когда завоеватели увидели бесконечную, залитую солнцем водную гладь, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. Город на реке был окружён с трёх сторон. В Виннице, в новой штабквартире, фюрер изнывал от украинской жары. Город на Волге нужно было взять во что бы то ни стало. Вождь в Москве, никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: ни шагу назад. Город удержать во что бы то ни стало. Эвакуация гражданского населения запрещена. Армия Чуйкова схватилась с завоевателем. Две трети развалин с их обитателями были уже в руках врага. В подвале универсама на площади Героев Революции, перед телефонными аппаратами и картой города, сидел, с дубовыми листьями на воротнике и Рыцарским крестом на шее, главнокомандующий. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Река, вся в пламени, стояла перед глазами и оказалась недостижимой. Город удалось отстоять, но его уже не существовало. Это была война, в которой победа была в конечном счёте такой же катастрофой, как и поражение, когда героизм, страх, самоотверженность и звериная жестокость обесценили все остальные чувства и перечеркнули культуру. Война разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал; выпотрошила души людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

Мальчик слушал радио — одна победа за другой. Между тем войска давно уже оставили Украину, отступили к Волге. Так, непрерывно побеждая, армия оказалась прижатой, как к стене, к берегу, но тут кое-что переменялось. В ста пятидесяти километрах от города части, незаметно подтянутые с фланга, применили тактику, заимствованную у врага. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке. В прорыв устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. Над половецкой степью пошёл снег. В темноте танки подошли к станции Калач и включили фары перед мостом через Дон. На пятый день завершилось окружение. Фюрер запретил попытки прорвать кольцо, что означало бы отступление; оставалось погибать под бомбами, в легких шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Красная Армия потеряла два миллиона солдат. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось 90 тысяч. Юная Лизль из Аахена послала слёзное письмо девятнадцатилетнему гренадёру Рольфу Бергеру, зачем он сделал её такой несчастной, она не вынесет позора: все смотрят на её раздувшийся живот. Мать написала сыну, что она знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», письмо было написано при свечах в подвале разбомблённого дома. Оно успело вернуться, как и письмо Лизль, со штампом «Пал за Великогерманию». Сотни мешков с письмами были сброшены с самолётов в расположение окружённых войск, и снег засыпал их. И снова...

Снова эта дорога, мглистое пространство сна, армада туч, тёмных на тёмном. По правую руку берег, невидимый, не отличимый от запорошенной снегом реки, по левую руку холмы, замороженные леса и где-то там, между елями, лыжный след на крутизне, сейчас не различишь. Пристыжённый рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, щурясь от солнца, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. Мальчик спешит по ночной дороге, стало жарко от быстрой ходьбы, он стащил с головы шапку, вытер шапкой потный лоб, расстегнул пальто, он шагает, марширует налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мёрзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отстают, уходят во тьму леса и овраги, всё ближе редкие огоньки, подросток бредёт по безлюдной улице, ещё шагов полтора, ещё каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель самодельный конверт, он медлит, мгновение, и он скользнёт, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик представил себе, как утром по пути в школу успеет перехватить почтальонку, как её здесь называли, представил, как она роется в сумке, я передумал, скажет он и сунет письмо в карман. На другой день, подходя к школе, он думает о том, как она бредёт в тёплом платке, в кацавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхлённой крутизны в просвете елей — след его падения, уже запорошённый снежком. И вот уже видны дымки из труб, больничный посёлок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, избегая на второй этаж деревянного здания школы, сейчас она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на своё место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, — сейчас она шагает мимо конюшни.

Направо за воротами жёлтая от навоза и конской мочи площадка, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, брёвна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала. Вестник в юбке и кацавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за перегородкой, с занавеской вместо двери проживала и Нюра в те далёкие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом здесь поселилась Маруся Гизатуллина, она-то всегда ждала писем, и мать подростка ждала писем, но почтальонка прошла мимо и остановилась перед следующей секцией. Кто-то выглянул, поговорили о чём-то; тётя Настя рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, ворочилась на кухню и, держась рукой за поясицу, наклонилась подсунуть письмо под дверь соседки, всё это он представил себе, как будто стоял рядом, но что если письмо затерялось? Старая тётя Настя плелась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных корпусов, мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, избушки из толстых брёвен, с единственным слепым оконцем. И тотчас, ни того ни с сего, эпизод, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, воскрес в его памяти.

Не считая главврача, завхоза, да ещё полусумасшедшего конюха Марсули, каким-то образом прибывшегося к больнице, он был единственным представителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полужамужних сестёр и санитарок, разумеется, тоже не в счёт. Главный врач, человек с негнущейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где заведовал чем-то, и здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трёх призывников с сомнитель-

ными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; за ними, следующим по рангу, шагал в баню завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в тёплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а далее женщины, их было много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоём с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время казалось нескончаемым, как товарный поезд, — один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватило бы на целую книгу, — и, однако, мчалось вперёд, словно экспресс, просто он этого не замечал, как пассажир, дремлющий в купе, не замечает расстояний. Из ребёнка, каким его привезли в начале войны, он словно за одну ночь превратился в подростка. И уже неудобно было брать его в баню вместе с собой. И оттого, что время так несло, этот эпизод отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение могла только поздняя память, наделённая свойством беллетризовать хаос жизни, манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое, в свою очередь, стало прошлым. Этот случай погрузился в легендарные времена, в те времена, когда Нюра ещё жила через стенку от них и никакого волнения это обстоятельство не вызывало, женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы их удостоить вниманием, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое, рисовал линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осаждённых городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы оттеснили все другие увлечения; словом, всё это было ещё до того, как Нюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, до того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, как мальчик, босиком, в чём-то белом, вероятно, в ночной рубашке, смежив глаза под весенним солнышком, до того, как её плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, и до того, как в комнатке за стеной поселилась Маруся Гизатуллина с матерью, а Нюра перебралась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далёким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что с этого эпизода всё и началось, что островок был не чем иным, как вершиной скрытого под водой континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером мальчик всё ещё сидел в холодных снях с заиндевелым окошком, дожидаясь своей последней очереди, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окружённое космами мокрых волос лицо Нюры, пахнуло влажным, гниловатым теплом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и ещё чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, захлопнула за собой дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на крюках висели пальто, платки, стояли валенки, на лавках валялось бельё. Он стащил с себя пальто и ушанку, покачивавшись, снял всё остальное, толкнулся в забухшую дверь, толкнулся ещё раз изо всей силы и ввалился в жаркий, жёлтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Гулкий голос окликнул его. Мальчик всё ещё не понимал, зачем его позвали, стеснялся своей наготы, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бёдра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоём с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Тёмную ночь», и «Про тебя мне шептала кусты», и «С неба звёздочка упала» и что там ещё, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двигалась с места.

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, чёрносмородинными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся ро-

звая, полногрудая, в шлеме тёмнорусых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там... — И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и всё остальное, немедленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не оставалось тайной. Разве что не узнали о том, что он был там и помогал. Услыхав краем уха о том, что случилось, мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему самому; можно предположить, почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении было и чем-то аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; всё, что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последовало, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестящем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда, сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивиться этому воспоминанию. Пробуждало ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, полногрудой и круглобёдрой девушки-богини не мог связаться с Нюрой их совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с серёжками в ушах, щурясь от пляшущих бликов, и её круглые плечи и начало груди белели над водой, день этот в свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: буду-

щим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженствующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворечник, он увидел человека в наброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на брёвнах, сваленных Бог знает когда, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил человек. «Рано ещё», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Садись, чего стоять?»

Солдат добавил:

«Вон какая луница».

Потом спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось ещё до призыва? Вытянув ногу, извлёк из штанов-галифе серебряный портсигар, из кармана гимнастёрки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара — всё левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела под шинелью на перевязи. «Куришь? — сказал он, защёлкивая портсигар. — Давай, приучайся». Подросток свернул и стал слюнить цыгарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднёс зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, чёрным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живёшь, среди баб. Небось какая-нибудь уже... а?.. А самому хочется? — спрашивал он. — Х... стоит?»

«Ты извини, — пробормотал он, — это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него цыгарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на чёрно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по этой дороге брела старая почтальонка тётя Настя, с тайным посланием.

Конечно, письмо и всё, что за ним последовало, было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счёте всё происходит одновременно. «Ну, я пошёл», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, ещё рано. Посиди со мной... Ты её знаешь?» Солдат имел в виду, очевидно, Марусю Гизатуллину. Очевидно, не заметил, что подросток проживает с мамой в этой же секции за перегородкой.

Он сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждёт, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно враньё, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

«Адресок дал, велел привет передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Следовательно, это был не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще было непонятно, который из них муж. Подростку казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но на самом деле только сейчас, слушая нового мужа Маруси, он уловил чудовищную связь событий, он понял, что кровотечение было расплатой за то, что происходило за перегородкой.

В середине ноября рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, это способствовало успешному продвижению: спустя две недели передовые части вступили в пригороды; двадцать, самое большее двадцать пять километров оставалось до центра столицы. Командир артиллерийского дивизиона, справившись по карте, увидел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно уже обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз рассвирепел, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно, в прецизионных прицелах ручных и станковых пулемётов замерзло масло. Пехота закопалась в снег. Ночные патрули расталкивали замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли на разбитых дорогах, теперь это была уже не грязь, а снежная каша. К концу первой недели декабря пришло утешительное известие: на Тихом океане императорская авиация успешно бомбардировала Перл-Харбор. Потоплено столько-то кораблей и так далее. Значит, Америка будет отвлечена и не сможет помогать англичанам в Европе. Япония протянула руку рейху. Рейх объявил войну Америке. Фюрер в Берлине отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий чуть было не покинул столицу в роковые дни октября, но теперь воскрес духом. Несмотря на потерю трёх с половиной миллионов, сдавшихся в плен врагу, армия, пополняемая новыми резервами,

численно превосходила рать завоевателей. После неслыханной, нигде и никогда не бывалой артподготовки армия двинулась вперёд. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами. Умиравших было некому подбирать. И среди тех, кого некому было подбирать, где-то у Наро-Фоминска, всё ещё живой, с раздробленными ногами, лежал летний муж Маруси Гизатуллиной, тот, который дал адресок; и было это после того, как он гостил у Маруси; и, может быть, в тот самый день, когда подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю, он подорвался на mine; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу, — продолжал солдат, — можно и на колёсиках ездить. Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю брёвнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопрошительный взгляд.

«Завтра уезжаю, — сказал он, — ночьку переночую, и...»

Поближе всмотреться, описать её, вспомнить, какой была она в ту минуту, три или четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутёмную келью. Представить себе ночное бдение Фауста (только что прочитанного), свечу и пульт с толстой книгой, а в ней таинственный знак Макрокосма. Или нет — кино, мятущийся огонёк на экране, идут титры, музыка из «Бориса Годунова»: 1603 год, келья Чудова монастыря. Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, в полутьме зрачки сидящего, которые он переводит навстречу еле слышному стуку в дверь. Кто там, спросил подросток. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлое было репрессировано; время, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с её мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему полумифическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого существа женского пола, время это прошло. словно не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и остриженная, как мальчик, а позже переселилась в соседнюю секцию. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего; все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький посёлок спал, экономя керосин, и только в двух лечебных корпусах, общем и родильном, и в заражном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дежурила в общем отделении, где помещались терапия и хирургия. скрипнула тяжёлая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу

ржавых петель, и всё стихло, словно кто-то не вошёл, а вышел; должно быть, гостя медлила несколько мгновений и, совсем было решив, что всё это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впад в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в накинутом на плечи коротком, до бёдер, собранном в талии пальто на вате и белом платье с прямым вырезом, которое скорее всего было ночной рубашкой. Значит, она уже легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, — и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Но, похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябшая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что всё это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещён коптилкой. Она вошла в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы ещё не спите?» — пролепетала она, как бы в извинение за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломлённые глаза уставились на неё. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок из дешёвого меха. Не найдётся ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, её всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил мальчик. «Чего ж в нём красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас называть».

«Аня», — сказал он.

«А вы всё не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Всё учитеесь, так поздно».

Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, подразумевала другое: тетрадь, лежавшую перед ним, ведь это из неё был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало их и вместе с тем разделило; о котором ни слова, как если бы оно пропало, как если бы оставалось неизвестным, получила ли она письмо.

«Да нет, — пробормотал он, — какие уроки».

Ещё не легли, всё сидите, что-то в этом роде произнесла она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, было очевидно, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она пришла неспроста. Мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три

дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал мне... а знаешь ли, что я твоё письмо действительно получила? Вот — как видишь, я пришла. Капли иinea блестели на её волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, — на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко, — поддёрнула пальто, её глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Какие уроки», — пробормотал мальчик.

«Что же вы пишете?»

«Дневник».

Она обрадовалась этой возможности говорить о чём-нибудь, в конце концов можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и всё, что он думает о людях.

Она снова поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела прядь волос, разговор, сперва напоминавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более или менее естественный характер, и письмо заняло своё место в распорядке вещей, показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нём. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к mine, зарытой в землю: «А мне...?» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, конечно, это был произвольный жест. Её грудь слегка выдавилась из выреза рубашки. «А мне — можно почитать?» И много лет спустя, — если представить это как фильм, как замедленную съёмку, где мгновение бесконечно, — много лет спустя она всё так же сидит в чашке сияния коптилки, опираясь локтями, отчего её груди стоят в вырезе платья или, может быть, ночной рубашки. Её тень простёрлась по дощатому полу, достигла кровати. Мальчик невольно взглянул на её шею и ниже, тотчас же она изменила позу, сомкнула пальто на груди, другой рукой, с колечком на пальце, подпёрла щеку ладонью, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, и словно приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Судоходство было главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, лишь два или три раза в жизни ей приходилось ездить по железной дороге. Как все её сверстницы, она была озабочена тем, что её время, время любви, проходит даром. Как многие девушки её поколения и социального круга, она видела жизнь без при-

крас, а, с другой стороны, показалась бы ребёнком девицам её возраста, которые будут жить полвека спустя. Нюра Привалова ещё не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в её жизни.) То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило её воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шёпот, звучало в её ушах. Письмо было от ребёнка, и не стоило принимать его всерьёз. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило ей голосом чрево вещателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откровенном; что-то ворвалось в её жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло её над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот, она постучалась в комнатку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но вышло так, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится ещё увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем оказалось, что произнесённые слова мешают продолжению; тайна, не высказанная вслух, парализовала мысль о том, чем могло бы стать это продолжение; слова служат смазкой, которая застыгает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, ещё не понимали, что уголь, пышущий жаром, подёрнется золой, если его не раздувать.

Нюра была медсестрой и знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желёз; знала, что жизнь проста и шершава и что мужчины хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Ему бы следовало родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обречённый вечному сидению перед лампадой, он унаследовал от неведомых предков культ молчаливого слова, перенял их надменную застенчивость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и у него было только одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трёх человек он был единственным мужчиной в больничном посёлке.

Он не ответил на вопрос, можно ли заглянуть в дневник, и спросил, глядя на её руку: из какого это металла? «Это дешёвое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, всё-таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. Дикое воспоминание на секунду представилось подростку, был такой случай: он сидел в отделении, где работала мать, в комнатке дежурного врача, и листал огромную книгу, подшивку газеты «Врач», целая кипа таких книг в твёрдом картоне лежала на шкафу. Глянцевые страницы, дореволюционная орфография, условия подписки, учёные статьи, письма

с мест, хроника, смесь — он перелистал дальше, случай из практики. Десятилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства, — и ему представилось, что он сам его насаживает, — доставлен с сильными болями из-за отёка головки члена.

«Почитайте, — сказала Нюра, надевая кольцо, — что вы там написали».

Он помотал головой.

«Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

«Там ничего плохого нет, наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями пальца, у неё были довольно толстые, сужающиеся к концам пальцы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?»

Уставясь на огонёк коптилки, подросток покачивал головой и спустя много лет не мог припомнить, о чём, собственно, были эти страницы. Должно быть, всё о том же, об открытии, которое он ей поведал, так что, в сущности, ничего нового для неё там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Сама же тетрадка, сгнувшая вместе со всеми его сочинениями, сероголубая обложка с линейками посредине: «по...» (вставить предмет), «ученика, ученицы», с римской цифрой, начертанной наверху, четвёртый или пятый том дневника, — тетрадка эта стоит перед глазами, словно ещё вчера он сидел над ней перед голым огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он мог о себе написать, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадь никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от девственной барышни, как бы уже готовой сдать. Он захлопнул тетрадь, как сжимают коленки. Они поменялись ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; ей хотелось услышать ещё раз то, что уже было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать».

«Нет, — возразил он. — Это правда».

«Написали, наверно, Бог знает что. Вдруг ваша мама узнает».

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Сердце заколотилось от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их уже связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Если такая мысль и могла притти ему в голову, то додумать её до конца возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встаёт вопрос, чего он, в свою очередь, ждал, чего «добивался».

Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, что он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, однако ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и площадной любовью не бывает так велико, ничьи романтические вздыхания не могут сравниться с целомудрием, с упитательным ханжеством подростка. Это была любовь, которая кормилась взглядами, одним лишь видом живой, реальной женщины, цвела и томилась, как тепличное растение, в лучах её физической красоты и тут же отворачивалась от неё, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, всё это неважно, я буду её любить даже если её краса несовершенна, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чём она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. В конце концов такая любовь могла дорасти до того, что её «объект» — женщина, какая она есть, во всей её живой реальности, — становился уже чем-то малосущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, — кажется, там даже говорилось о «ночах, полных огня», — так что можно предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Ньюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо — как и писательство — может быть в некотором роде самоцелью. Или, лучше сказать, никак не сумела бы согласиться с тем, что объяснение в любви уже было в определённом смысле осуществлением любви. Потому что всё, что хотел автор, — это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и всё; знать, что её походка (а что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делают тысячи девушек), её выпуклые серожемчужные глаза, пухлые губы, хриловатый голос и самый звук её имени, что всё это — род наваждения: чарует, парализует и не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тоггенбурга. Женщина была польщена. Но с этой любовью нечего было делать. Такая любовь рисковала обесцениться именно по той простой причине, что с ней нечего было делать.

Как всякая в её положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать

себе: глупости, не хватало ещё связаться с младенцем, — или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределённому соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, если пишет такие письма. Перейти в открытое наступление она была неспособна, для этого она была слишком скована репрессивной моралью своего времени, слишком поработана, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе её ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчёта, и что робость мальчика должна соответствовать её стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мама дежурила часто, через ночь); довольно было того, что, увлечённая бессмысленным разговором, забывшись, — мы допускаем, что это произошло непроизвольно, — она склонилась над столом и её груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Ей показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, робость и отвага руководили обоими, — точнее, робость, неотличимая от отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — всё сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось, что их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила их от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид — перед ним, перед самой собою, — что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться; в темноте она бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце барака, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у неё горели Стожары, её лицо казалось чёрным в ртутном сиянии звёзд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутёмных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, с окоченевшими ногами, неподвижные, печальные, словно брат и сестра, словно суженые перед тысячевёрстной разлукой, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу «вы».

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза по крайней мере перекладывает на богов ответственность за всё постыдное, что является воображению. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не подведомственных нам низин.

Сны не то чтобы отрицали величие любви. Не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить с чёрного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, какой не бывает наяву. Оба, он и Нюра, были одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма, где-то в поле и в то же время на крыльце, вернее, в сенях, и мальчик силился что-то сказать, но она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел её шевелящиеся локти, склонённый затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо, чтобы отдать ему. Он хочет её обнять, наконец-то наступил этот момент, она не даёт, в конце концов ему удалось почти овладеть ею, он думает, что можно всё совершить стоя, здесь же, в тёмных сенях, но за спиной у неё стоит тень, Нюра её не видит и совсем уже как будто согласна, но он-то видит, что это тень Ченцова закрыла звёзды в дверном проёме. Мерзкий сон! Вновь наступила оттепель, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришёл в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он всё ещё вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно превратившись, оказался всего лишь сном.

Больной по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как однажды утром исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил сюда ходить?» Подросток держал на ладони завернутую в бумагу селедочную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с неестественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, штаны, тощая нога закинута за ногу, на голый ступне болталась туфля-полуботинок с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, шурясь от дыма, — даже два. Первое. Ты ведь в школе учишь немецкий? Давай с тобой переведём заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, для ходячих больных измерение температуры было скорее формальностью; при сдаче термометров по счёту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от больницы, если идти в сторону, противоположную район-

тру, — все русские деревни располагались вдоль берега, потому что казаки (объясняла учительница географии) плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны. Пацан сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Человек показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лёд покрылся водой. Ченцов сидел весь посиневший от холода на вмёрзшей в ноздреватый снег коряге, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не заметил приближавшихся санитаров и до смерти перепуганную Марусю. Без всякого сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьёзно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у неё есть жених и она выйдет за него, когда он вернётся с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лёд только ещё собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило во мраке, потрескивали сучья, кричала загадочная птица, — и вот, выкатилось слепящее солнце, блеснули трубы, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеребрившим снежным полем, между грязножёлтыми колеями с голодным верещаньем неслись, криво ставя короткие ножки с копытцами, трясая тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мёрзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил её за верёвочку для подвязывания под подбородком. Всё было кончено или казалось, что кончено. Триумф свободы, избавление от изнурительной любви.

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» — спросил подросток.

Больной насупил, засопел, уставился на окурки и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? — медленно, перейдя на вы, проговорил он. — Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем собеседника и продолжал вполголоса: «Надо дождаться, когда установится дорога».

«Дорога?» — спросил мальчик.

«А также судоходство».

«Судоходство?»

«Да. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха, можно без вызова; когда ещё вызов придёт... А кто вас, собственно, должен вызвать?» — спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признаться, что писем нет с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», — объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Разумеется. Да, конечно. Ну что ж. Будет даже лучше. Отец вернётся, а ты уже в Москве!»

Подросток сошёл с крыльца. Ченцов снова поманил его пальцем.

«Это пока ещё сугубо предварительный разговор. И сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани, — сказал Ченцов. — Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно договориться, чтобы нас взяли на баржу. А там — прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это ещё лучше».

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток всё ещё молчал.

«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион! Ещё бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностранный легион воюет против Гитлера».

«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти место поудобней... — Стемнело. Они обошли с задней стороны длинный бревенчатый барак инфекционного отделения. — К тому же, как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не записаться ли мне, чёрт возьми, в Иностраннный легион! Я был здоров и молод. Но, знаете ли, с нашими порядками... Послушайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и учёных. Как я рад, что нашёл в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: через каких-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольной Ивана Великого, дышим этим неповторимым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?.. Вы здесь, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Сталина... О, не беспокойтесь, — говорил он, впуская подростка в комнатку, где стоял письменный стол, — здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зочка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек. Тяжело, знаете, всё время в палате; хочется побыть наедине с собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили покинуть Москву, они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Но вы, наверное, тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слёз, на этот дорогой город, на эти башни, Ярославский вокзал или, кажется, Савёловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, всё смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные, всё равно какие, вы этого не застали, и слава Богу... Вдруг все сорвались, все захотели уехать, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже, говорят, по Дорогомиловской идут танки, уже... не знаю, может, уже и в городе».

«Вот, — сказал он торжественно. — Здесь всё записано. Всё, чему я был свидетелем. Для будущих поколений. *А между тем отшельник в тёмной келье здесь на тебя донос ужасный пишет!* Угадайте, откуда это?.. Правильно! Нет, нет, — он замахал руками, — не подумайте, что я тут... что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я признаю правоту... да, я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми огорками, это уже другой вопрос».

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрельчатым почерком с широкими промежутками между словами, — признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и раздвоенный язычок огня взметнулся в колбе, повеявая чёрной кисточкой копоти, уже оставившей полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа, роскошь тех лет, предусмотрительно запрошенная регистраторшей Зоей Сибгатуллиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*¹, — увы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, — представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи нашего существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому я здесь большое внимание уделяю моим собственным переживаниям, моей внутренней жизни. Что значит подлинное существование? Мой юный друг! — сказал вдохновенно Ченцов. — Меня назовут сумасшедшим, пусть! Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдаёт себе отчёт. Мало кто осмеливается! Мы живём не в одном времени, вот в чём дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, мы существуем не в одном, мы существуем в двух, даже в трёх временах».

Подросток слушал и не слушал. Подросток думал о легионе. Он писал о нём в дневнике. В Иностранный легион брали всех. Не спрашивали ни документов, ни откуда ты взялся. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведёт дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра Привалова. Теперь, когда он выздоровел от любви, он мог бы равнодушно и высокомерно, с лёгким сердцем, сообщить ей кое-что под большим секретом; если быть честным, ему не просто-таки не терпелось намекнуть ей об этом при первом удобном случае; он представлял себе её ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с неё слово, что она не проговорится.

Больной устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор — словно потерял нить мыслей.

«Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках вообще целая куча времён, не об этом речь... Мы живём в трёх временах. Объясняю. Во-первых, мы живём в историческом времени. Нам всем внушают, что мы живём в истории, мы — народ, мы — нация, мы — общество, и что будто бы это

¹ Тайная, секретнейшая история (*лат.*).

даже самая главная, единственно важная жизнь. Якобы ради неё мы только и существуем. Так сказать, вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но, с другой стороны, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертёж... Всё равно как битюги идут по мостовой, тащут возы, а воробьи клюют навоз между колёсами. И воробьи, и битюги вроде бы делают общее дело, а между тем что у них общего? Так и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, по правде говоря, даже отрицают друг друга. Битюги тащат возы, а воробьи — что воробьи? Что они значат? Попробуйте-ка связать жизнь, которая происходит вокруг вас, с тем, что вам рассказывают на уроке истории; вот то-то же».

«По-настоящему, — он перешёл почти на шепот, — если хотите знать, мы не живём ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить много лет... так вот, приходит день, и до сознания доходит иллюзия и труха стадного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное чириканье — с одной стороны. Зловещий фантом истории, вот эти самые битюги, — с другой. Жуткая игра теней... Всё это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я открою вам страшную тайну. Быт, рутина, обывательщина — это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Самый ужасный враг человека — история. Или ты человек и живёшь человеческой жизнью, или ты живёшь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты — червь, ты — кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, — хрипел Ченцов. — Настоящее, подлинное время — на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, и ты всегда в нём жил, с тех пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчёта. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, — он стучал пальцем по бухгалтерской книге, — истинное, непреложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память — это тоже действительность и сон — действительность, в котором, если уж на то пошло, только и живёшь настоящей жизнью...»

Он перевёл дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждёт».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, а сейчас надо быть особенно осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько, комар носа не подточит... — бормотал он. — Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мешанском болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живём в таком мире — можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, выдвигая и задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрёпанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство мальчика. — Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавливаются на такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим ещё не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели вечером при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи вёрст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над тёмной рекой трубила неслышанная весна, и мы читали стихи... *Трубят голубые гусары. В этой жизни, слишком тёмной...* Гейне. И я говорил вам, — да, и не забывайте об этом никогда, как я вам говорил, предсказывал вам, что у вас впереди блестящее будущее. А теперь за дело».

Больной крикнул, отложил свои орудия, потёр ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложив бритву, принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где прежде стоял год рождения, жёлтым ногтем.

«Тэк-с, — промолвил он. — Аусгецайхнет. Угадуйте: что это слово значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдёте, молодой человек. И так... один росчерк пера, всесильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занёс перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да. Угу».

Он отложил ручку, подпёр подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчётливо была видна дырка.

«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не остаётся, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же...» — спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придёт время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедем?»

«Ах, друг мой...» — шептал Ченцов, глядя не на собеседника, а скорее сквозь него; и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от полусидящего, тощего, подпёртого подушками Ченцова исходил тяжёлый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май. Значит, думал подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти ещё около двух месяцев. Как, однако, условны эти вехи. Повествование — враг памяти. Оно вытягивает её в нить, словно распускает вязку, и смотри-те-ка, дивный узор исчез.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Он повернул лицо в подушках — небритые щёки, острый нос, остро-бесцветные глаза, синие губы, полуоткрытый рот. Мальчик обернулся: в дверях дежурная сестра. Пора уходить.

«Ещё пять минут, — прошелестел больной, взглянув на сестру, — Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдёт. И мы с вами... о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат...»

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше её не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia arcana... У меня столько важных идей! Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, всё слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, о которой медицина не имеет представления. Это не туберкулёз и не абсцесс лёгкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только воздух Москвы. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брёл по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнётся новая, невообразимо прекрасная жизнь, не такая, как до войны, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы ещё будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так, или, пожалуй, совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее настоящим, а затем и прошлым. Но пока что всё это в будущем. В такой же вот майский, звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо дальних зеленеющих берегов, мимо дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, весёлый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив и вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала дежурная сестра Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, должно быть, такой же была ханша Сумбека в расшитой шапочке с покрывалом.

«Нельзя так долго сидеть, — говорила она, шагая по коридору. — Ему вредно».

«Он поправится?» — спросил подросток.

Она направилась в дежурную комнату. Выходя, сказала:

«А, ты всё ещё здесь. Пора ему укол делать. Подожди меня... Что ж, ты разве не заметил, — говорила Маруся, когда они снова шли вместе по коридору. — Это же такая палата».

Он спросил:

«У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!».

Там, где лыжи проваливались в снег, на плоских холмах, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощённых ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, откуда съехал неведомый смельчак, оставив на крутизне двойной вертикальный след, там теперь всё заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит всё дальше. Посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба, сколоченных наподобие пирамиды, с берёзовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Сверху не видно уже ни берега, ни больницы, зелёная сплошная чаща, голубоватые верхушки, провалы оврагов, и постепенно всё застилает сизо-лиловая пелена. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, ещё длился век Ермака и Грозного.

«А-у!» Звук повторился совсем рядом. Выкликали его имя. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся Гизатуллина. «Здесь волков нет», — возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда ещё не было, — помнишь, Нюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты ещё пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».

Что-то он не помнит такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, женщины устраивались, копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тётка сидела, спустив голые ноги между головами у сидящих внизу, было жарко, состав подолгу стоял на узловых станциях, пропуская встречные поезда. «Эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали из эшелонов.

«И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — «Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем Нюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к ним, не моргнув глазом взглянул на вышедшую из кустов Ньюру с лукошком. Надо сознаться, она стала ещё прекрасней, в сиреневом лёгком платье с белым воротничком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек, и на загорелых ногах лёгкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-безысходные зимние ночи, это ожидание на крыльце, всё прошло, он избавился от этой каторги и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, её снедает тайная ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветёт эта красота; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, — сказала Маруся Гизатулина, — умаялась. Мы тут весь машинник обобрали. Пока ты там шастал».

Два года назад было такое же лето. Высадились на пристани, шли, волоча свои чемоданы, оказались в физкультурном зале с большими окнами, с шведской стенкой и сдвинутыми в угол гимнастическими снарядами, прожили на полу недели две, пока всех не распахали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои пять пальцев, и школу, и базар, где в те дни ещё толпился по воскресеньям народ; война ещё не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи, с мешками сена на мордах, с возов торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; бабы-марийки в узких расшитых шапочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слонобая кость, шары на тёмнозелёных листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Ещё можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, о чём говорит Маруся, — что волки подошли к больнице, да ещё в летнее время, — но он отлично помнит первый год, первое лето, помнит, как подошёл к реке, в это время они уже получили комнату в больничном посёлке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас воспоминание перенесло его, как на ковре-самолёте, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, остриженная под ноль, среди визга и плеска, с круглыми белыми плечами и началом груди над водой. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Ньюрой. Река унесла его. И так же, как ни с того ни сего перед ним вновь мелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне, разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины, щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась, надо бы ещё разок придти, варенья наварим, чай будем пить».

Корзинки с похожими на шапочки тёмнорозовыми ягодами стояли в холодильнике под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, расставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка.

«А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все говорят — малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали колокольчики.

«Ты у нас учёный. Всё знаешь. А мы с Анютой тёмные, да, Нюра?»

И всё-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то, что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапнула ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? — Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня поддержит. Да чего ты... самую чувствую. Голубые глаза хороши, только мне полюбилися карие!»

«А ты как, попробуешь?» — спросила она.

«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребёнка спаивать».

«Какой он ребёнок. Скоро усы вырастут. *Полюбились любовью такой...*»

Нюра — хрипловатым голоском:

«Что вовек никогда не случается!»

Маруся Гизатуллина:

«Вот вернётся он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной постречается».

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась к корзинке, — её грудь слегка кольхнулась, — и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток громко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину. «Люблю мужчин с усами. Вот мой вернётся, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка вот ещё закуси».

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Да ну его. Не хочу о нём говорить. *А тебя об одном попрошу...*»

«Понапрасну меня не испытывай...»

И незаметно всё изменилось. Как там дальше? *Я на свадьбу тебя приглашу.* Мальчик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана её вышивками. А на узенькой раскладушке, на том месте, где когда-то лежала остриженная голова Нюры, когда Нюра заразилась тифом, — но тогда у ней вообще не было имени, — теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном и том же белом ситцевом платице с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком на спине, а широким прямоугольником до половины спины, из-под платка свисал чёрный хвостик косички. Она пела другие песни, тонюсеньким голоском на своём языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай», — пела Маруся

Всё вокруг изменилось; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту: брызнуло струйкой в мозг, и вселенная пошатнулась; но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг стал другим, приобрёл другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуйста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало припекать. Нюра в сиреновом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в этом взгляде было неясное обещание; темноокая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только чёрные трусики и бюстгальтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате всё лето... Худющий, как Кашей, — приговаривала Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего стесняться. Господи, в чём душа только держится». Подросток улёгся на живот. «А ты что сидишь? — сказала она. Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», — сказала Маруся. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Всё пело, всё смеялось.

Лёжа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, голос Маруси Гизатуллиной спросил: «Спишь?» Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле провалившись в сон на одну минуту, Нюра незаметно покинула их, очевидно,

ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход уплыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел её руку, заложенную под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Всё ещё сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над ним, он увидел близко перед глазами её маленькие татарские груди с чёрными почками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, услышал лёгкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре, и, как всегда в это время года, враг пытается сызнова перейти в наступление. Семь ночей и дней продолжается танковое сражение вдоль дугообразной, как излучина, линии фронта вокруг Курска. План — ударить одновременно с севера и юга; командующий фронтом знал, что если план провалится, ему не миновать разжалования и расстрела. План удался; армейская группа «Центр» потеряла тридцать восемь дивизий; сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. В этой войне полководцы имели дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентным самоуправством вождей. Война перевалила за вторую половину. Война катилась назад, на Украину и в Белоруссию. Армия шла вперёд, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идёт война. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В густых лесах Восточной Пруссии, в главной квартире, фюрер с застывшим взглядом, с лицом, напоминавшим маску, объявил, что народ окажется недостоин своего фюрера, если война будет проиграна. Вождь в Москве объявил: и на нашей улице будет праздник. В селе, о котором теперь никто не помнит, партизаны застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали тёлку, поросят и ушли. Поп отслужил панихиду по убитым. Поп сидел в огороде, когда прибежала девчонка сказать, что немцы явились, чтобы сжечь село. Два бронетранспортёра выехали из леса. Священник облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с большим золочёным крестом в руках вышел за околицу, надеясь остановить карателей. Он был скошен автоматной очередью. Лето в разгаре, давно освобождены калмыцкие степи. Некто Иван Бадмаев, стрелок-радист, сбитый в воздушном бою к югу от Сталинграда, ос-

тался в живых и получил боевую награду. Ему было 18 лет. Триста лет тому назад его предки перекочевали в низовья Волги. Этого делать не следовало. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не произошло. В госпитале, где Ивану Бадмаеву ампутировали ногу, было велено явиться утром на вокзал. Площадь перед вокзалом была оцеплена войсками. Бадмаева вместе с костылями затолкали в вагон. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Пришла осень, и жизнь изменилась. Вечером чёрная коза по имени Лена не пришла к крыльцу, её разыскали на другой день, она скатилась в овраг, простояла всю ночь по брюхо в глине и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Лену внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая тёмными ресницами, она лежала на соломе, у неё отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил её листьями почерневшей капусты. И было что-то в этом эпизоде, который всё же по счастью закончился благополучно, что предвещало новые беды. Лили дожди. В крошечной тьме (он перешёл в следующий класс, ходил теперь во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в трясине, упал и, весь перепачканный, потеряв галоши, добрёл кое-как до больницы. Поздним, чёрным вечером он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, близкой опасности не давало ему покоя; бич судьбы уже посвистывал над ним; это чувство сидело во внутренних органах, в тёмной глубине тела; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть на самом деле не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим задним числом в расплывающиеся ключья существования, бессознательный механизм, задача которого — сохранить единственность и единство нашего «я».

Всё неспроста, всё оказывается неслучайным; всё тянет в одну сторону: дождь, и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери за его спиной, тень, перешагнувшая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, а вокруг всё струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь ещё не было и десяти часов. «Прошлую ночь совсем не спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возились, а потом ещё этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь посёлок говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки; одни рассказывали, что он был дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, она на него донесла; другие — что дочка эта была его собственной дочерью и жил он с обеими. Милиционер в лаптях,

в шинели с новенькими погонами, которых здесь ещё никто не видел, привёз самоубийцу, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел его допросить.

«Чего ж допрашивать, и так всё ясно. А вот её, наверно, посадят».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. Сама того не ведая, она высказала мысль, которая четверть века спустя стала тайной жалобой женщин: мысль эта была не что иное, как ностальгия по великому мифу любви.

Он был жив, этот миф, до тех пор, пока общество воздвигало перед ним препоны. Великая и самоотверженная страсть чахнет, не наталкиваясь на осуждение окружающих, на мораль общества и беспощадность закона. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела, и приходится обходиться голой «сутью». Прошлое, о котором вспоминал подросток, когда он давно уже не был подростком, было не то прошлое, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот, настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Её ждёшь?.. Не бойся, никому не скажу. Я ведь всё знаю», — добавила она. Он спросил: «Что ты знаешь?» — «Всё знаю. И всё понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остолбенев. «Хочешь сказать, что больше её не любишь? Чего ж тогда стоишь — небось весь окоченел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей всё рассказала. Он вспомнил о письме, теперь уже таком далёком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпретенных выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы оно сохранилось; в конце концов он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нём. А ему бы ответили: какое письмо? Да я его давно выбросила. Через много лет он представил себе, что каким-то невероятным образом увиделся снова с Нюрой — и спросил: получила ли она тогда его послание? Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось — нет, она не получила. Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, придумав какой-то предлог, разве это не было доказательством, что письмо получено? Но теперь, через много лет, чего доброго, оказалось бы, что она ничего не помнит! Была война, больница, это она помнила; какие-то люди приехали в эвакуацию.

Что стало с Ньюрой? Он попытается представить себе. Придумать — что в общем не представляло труда с его даром фотографического воображения — эту Анну Федосьевну или как там она звалась по имени-отчеству, и представить, как она существовала всё это время. Наверняка это была ничем не примечательная, тягостно-бесцветная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат всё обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с коптилкой и заклеивал самодельный конверт протёртой сквозь марлю варёной картошкой, была бы всё равно что мутно-жёлтая фотография, на которой с трудом удаётся различить чьё-то лицо, — рядом с только что проявленным, чётким и влажным снимком.

Бессмысленное занятие: образ, реконструированный таким манером, образ сегодняшний, не имеет ничего общего с тем подлинным, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где всё так же изнемогал на столе жёлто-голубоватый огонёк. Ньюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным дешёвыми кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами инея. Должно быть, она уже легла, но что-то её томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил, — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо на её пальце, и тотчас кольцо сделалось необыкновенно важным, как всё, как огонь на столе и его дневник, прядь волос, которую она смахнула со лба, как её грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие учёных психологов, будто отсутствие мужского органа, щель на месте, где он должен был находиться, рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере, в те времена, если бы он услышал о ней, она показалась бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, тёмное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятья, которое мешает жить. Между тем как девушка, лёгкая и свободная, без тёмных помыслов, без тягостных снов, не стыдясь за себя, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, и соблазна, и страха оскотления. Для него пол был но-

востью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что для девушки, у которой там *ничего нет*, быть такой, какова она есть, значит просто *быть*, что она живёт в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — пожал плечами, уселся на своё место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — сказала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно, — всё ещё уроки делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — спросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдёт. «Завтра на работу, — проговорила она, — я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось всё думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она», «о ней» — попросту ничего не значащие слова. Или всё-таки знает?..

«Как это ни о ком, — продолжала она, смеясь, — значит, ты уже её позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на неё взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не сердчай, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она уставилась на огонёк коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила глаза. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днём? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатуллина, — ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Ещё в Мамадыше; я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрошусь, а тут похоронка пришла, папу убили сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамусей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждёт. Ничего с тебя не возьму, что подаришь, на том и спасибо, только ты, говорит, не старайся сердце от

меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?».

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я всё равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет — ты уже взрослый. Проживёшь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, всё тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — сказала она печально.

Подросток поднёс перо к огню, он не мог понять ни себя, ни её, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонила, а не просто коротала с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал её взгляд, устремлённый вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», — сказала она полувопросительно. И вот, словно не было всех этих лет, словно всё ещё шарить в темноте: в кухне висят на гвоздях армяки, кацавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик, «вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Всё ещё капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в чёрной синеве, сверкали, как ртуть, звёзды. Побрели мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдём дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, что всё могу, на всё решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то ещё впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больничного посёлка соединялась с трактом; постояв, повернули назад.

«Бр-р, к утру подморозит, это точно, — говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку... — Она подошла к столу. — А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провевал по комнате.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; всё равно спать ложиться.... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звёзд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунноликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бёдрах, взявшись за платёе и что там ещё было, одним движением сняла всё сразу через голову, встряхнула чёрными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли её губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушённый, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съёмке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь всё равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-а-вно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда её деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с тёмными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись тёмные кружки её груди. «В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну чего ты оробел. Полежим, и всё».

«Я не оробел», — сказал он мрачно.

Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Всё стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошёл призрак. Мать подошла к столу. Чиркнула спичка. Язычок коптилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там не пошевелились.

«Вылезай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась чёрная растрёпанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» — спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолетний? Он мужчина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе ещё покажу, ты меня будешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусупошки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати, после того как исчезла Маруся Гизатулина, после того как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату отворилась, там стояла Маруся, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на неизвестном языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остаётся загадкой, ибо они составлены с помощью иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний: кажется, что умолчания возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад.

Мать успела застать его утром, когда он запихивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я всё понимаю, вздохнув, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы мож-

но?.. Он вышел из дому. Дорога слегка подмёрзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что больница растворилась в тумане. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дёрн проваливался и хлюпал у него под ногами. Вскрабавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился всё гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверёк, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней, о себе без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон, — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Всё пропиталось горечью, горечь капала с веток. Всё оказалось так омерзительно-просто. Он усиленно моргал, его веки слиплись, надо было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изуевчить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять всё в руку — и ножом р-раз. Несколько успокоившись, он поднял голову, выпрямился, он набрёл на другой выход. Он сам не заметил, как выбрался из леса, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запаса необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью и всё время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошёл, озираясь, в конюшню. Было слышно, как кто-то стучал и скрёб копытом по деревянному полу. Старая, серая в яблоках одноглазая лошадь по кличке Пионерка стояла, понурившись, за загородкой, он прошагал мимо неё, мимо второй рабочей лошади, за ними, в стойле почище, беспокоилась молодая пегая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался.

Узкий подоконник был заставлен иссохшими цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуществом хозяина. Сам Марсуля лежал на топчане, в картузе и грязных сапогах, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким.

«День добрый», — прохрипел Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»

Гость вытащил из портфеля приношение.

«Так, — сказал Марсуля. — И что же?»

Мальчик выдал из себя что-то. Хозяин осклабился, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», — сказал он внушительно.

Кашлянув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришёл меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Подросток достал с полки мутный гранёный стакан. Марсуля молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развёл спирт водой из чайника, разболтал, стащил картуз с лысой головы, посмотрел питьё на свет и, нахмурившись, с суровым видом провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел солёным огурцом.

«Скоро, — сказал он сиплым голосом и погрозил пальцем. — Скоро протрубит труба. — Он приставил ладонь ко рту. — Ту-ру, ру-ру! Тебе понятно?»

Понятно, сказал подросток. Марсуля качал головой.

«Не думаю, что было понятно. Но ты увидишь. Все увидят. Когда придёт день, и Марцули больше здесь не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Мы и вам покажем», — сказал он, подмигнув.

«Кому это, нам?»

«Вам всем».

Хозяин каморки обозрел своё жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я жду приказа, — он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот przedmiot?»

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан.

«Na zdrowie».

Опрокинул в рот. Огурцом: хрясь!

«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, и тебя могут заарештовать, если увидят. А ты ещё молодой. А вот ты мне скажи, ты откуда знаешь?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля покачал головой.

«Нет, скажи. Откуда узнал, что у меня это есть?»

«Ты сам говорил».

«Я?.. тебе говорил, про этот...? Что-то не помню. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«С другой стороны, ты меня подкупил, — рассуждал Марсуля. — Я человек честный. Я выпил спирьтус, значит, должен выполнять. Иначе будет нечестно. И я даже не знаю, умеешь ты с ним обращаться?»

«У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что в школе проходят военное дело. Самозарядная винтовка Токарева образца 1942 года. Затвор служит для досылания патрона в патронник, для плотного запираания канала ствола, для производства выстрела, для выбрасывания стрелянной гильзы! После уроков, строем, по улицам села. «За-певай!» *Кра-аснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой.* Он сидит у подножья пожарной вышки, на поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмёт», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, закрыв один глаз, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лес и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остаётся жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадёт в воду, и его унесут волны. *На разведку он ходил, всё начальству доносил, да эх.* Он подходит к реке, поглядывая по сторонам, тёмносерые, тусклые воды влекутся на всё огромном пространстве под небом туч. Далеко впереди, почти вровень с водой узкой полоской чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осматривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределённое время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там ещё, запихнуто в портфель. Мать хлопочет вокруг чемоданов. Марсуля, необыкновенно серьёзный, выпивший, в низко надвинутом картузе грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещённый, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрывки, привязанные к борту, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи. Медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит ещё ехать, пока вдали, на солнечном разливе, не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала — Химки, Москва.

Ксения

Ночь с субботы на воскресенье

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечатала и разослала приглашения. В программе Шуман, трёхчастная фантазия C-Dur, op. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Ce n'est pas rien*¹.

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес — собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своём чёрном платье с кружевами и воланами, бледнолиловая причёска, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет — не просто боязнь потерять благосклонность публики.

¹ Это кое-что значит (*фр.*).

Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого нисколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переверачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз про-репетировали всю вещь, я знал её назубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжёлым чувством я останавливаюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король держал флейту возле губ, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали *mots*, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахивают клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

Продолжение. 3 часа ночи

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А всё-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после *Kopfsatz*¹. Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

¹ первой части.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда... тогда было лето в разгаре, июль. Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dug-ную фантазию. Кто играл, теперь уже не вспомнить...

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпитафия, — сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, кто ему внимает», — подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с брющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

11 часов вечера, воскресенье

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свериться. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг принялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в коленкорных переплётках не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдётся издатель, — только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год; в июле, двадцать четвёртого числа (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша цель — мост у Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подожжённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из уцелевшей, высокой ржи, совсем близ-

ко, бой перепела — высокий металлический звук, слегка приглушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает — снабжение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днём монотонный лязг гусениц, гранадёры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, поставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледнолиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать километров, — мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихожей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнате рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, увы, — скомпрометированное понятие. Ветер истории, который некогда овевал нас, который и сегодня веет со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, что он значит теперь?.. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной и видит сны — о чём? О том, что он когда-нибудь проснётся и протрёт глаза?

Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr, zu seiner Zeit¹.

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn¹ с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году

¹ Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок — он вернётся, и с ним вернётся блеск его державы. (*Из баллады Фр. Рюккерта «Барбаросса»*).

жизни я имею основания полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, — ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, — присоединил бы к своему баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожалала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе.

С Франциской мы учились вместе в Салеме², мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше.) Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншпиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», — а какие, собственно, вопросы?

С воскресенья на понедельник

«Устала, сил нет, — сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта.) — Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

¹ Сосуд для питья в форме рога.

² Школа-интернат, размещенная в замке Салем близ Боденского озера.

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

«Знаешь, — проговорил я, — мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чём я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе... — сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. — Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

Нет, сказал я, это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

Вечером в понедельник

Распорядок дня безнадёжно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц¹ считал спанье привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле рзучусь спать. Итак, мы рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших злаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас зловещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь — как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, утрюмое потрескиванье — степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейтенантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон,

¹ Фридрих II Прусский.

в русской армии отменены погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов, XIV корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдём с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы — излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, — Сталинград...

Ночь с понедельника на вторник, 2 часа

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лёбковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы: давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платье с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола — это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье — отец Франциски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, — Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели — это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салеумской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, Marinehelfer¹. Пропал без вести в самом начале войны. Офицер с Железным крестом — фрейгер² фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

¹ юнга (нем.)

² барон.

Я спросил — почему-то он мне вспомнился, — кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

«М-м?» — отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересует?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, — скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно. Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут... — я не мог разобрать его имени. — Извините...»

«Что вам угодно?»

«Я здесь проездом», — сказал он.

«Na und?»¹

«Я был на вашем вечере».

Голос с американским акцентом — Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...» — сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я вас слушаю», — сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншпиль».

Поздно вечером, вторник

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинувшись этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, мимо Вейяр-

¹ Ну и что.

на, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути, миновав перелески, непробудным сном спящие хутора, деревни с неперемной церковкой кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве.

Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нём разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окружённому кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обергофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некоей даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа, которую мой прапрадедушка переименовал в Беттлиз¹. Любимцу муз носили еду из дворцовой кухни, он просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отдал Богу душу.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с потомком ландграфа Филиппа. «Я, — сказал он, — хочу сделать то, что вовремя не было сделано». — «Und das wäre?»² — «Вызвать тебя на дуэль!» — «Я готов к услугам», — ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдоты, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, сами того не замечая, разговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тезки³. Король не любил во-

¹ Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

² А именно?

³ То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.

енную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста — два моих двоюродных деда, погибших в первую Мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница моей бабки, померанской княжны: взбалмошная особа, сумевшая восстановить против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потёмках письменным столом — с выдвинутым нижним ящиком — были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетётся русский мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и просторную синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, — чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

Около полуночи

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записки полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник

предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса — три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу — две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле — Острогожск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi»¹. И всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль *petites madeleines*² сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определённо представлялось закрытой главой жизни, подобно сданному в архив судебному делу, приходится ворошить заново, «в виду вновь открывшихся обстоятельств». как говорят юристы.

Среда

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша дет-

¹ Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.).

² бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».

ская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по-старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци — моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци — типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели — отлично помню — в полуосвещённой гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было за полночь. Большой спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, — сказала она. — Мы оба должны понять... Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», — возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же убудков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, — сказала она, — не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, — сказал я. — Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» — сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté¹. Посидим ещё немножко».

¹ Так решено? — Решено (фр.).

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канаве и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, — проговорила она, садясь рядом со мной. — Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

«Куда?» — спросил я.

«Куда-нибудь далеко. — Она встала. — Но имей в виду...»

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отказались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе — я чуть не сказал, в позировании — было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильнее её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.

Третий час ночи с четверга на пятницу

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было собраться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn¹. Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помню взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свидание; как вдруг сзади раздался его голос с англосаксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», — по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, — сказал он. — А что вы играли?»

Вздохнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!

Он пробормотал:

«Германия — очень музыкальная страна».

¹ Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.

«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», — сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

Пятница, после полуночи

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду — другое.

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или — что кажется мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнёмёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением фронтовых СС некто Бенке, страшный человек, по которому — говорю это с полным основанием — плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике — краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, — мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округа, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика — не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые всё больше распространялись — и в конце концов подтвердились! — о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?

Июль сорок второго года. Острогжск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, эта французенка, коньяк отрезвляет — но лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

Ночь, продолжение

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, — говорит майор, — так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», — сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), ему известно, надо лишь удостоверить.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами:

«Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину опорожнённую. Наливает полстакана: пей.

Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, тёмной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, — говорит он, — вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик — балтийский немец, худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...» — говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, — ну-ка, повтори, говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, вот увидите, мы вам ещё покажем, Россия большая, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, — ждёт моего кивка. Я тоже вне себя. Ну, раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчишка выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

Седьмой час, перед рассветом

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», — а это был, ни много ни мало, стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», — ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на историю. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим.) С другой стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем всё это кончилось. А мы теперь знаем. Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий — уничтожить

на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё ещё в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага — большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы завоюем страну. А затем мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

*

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад обгорелых печных труб — всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками оружейного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство общей судьбы — у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой — ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы — азарт, похожий на азарт игрока, азарт

наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижне-алексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А — у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взят Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди — необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта.

А мы — группа Б — тем временем с боями овладеваем Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений — к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, — Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и, между прочим, тогда тоже у меня почему-то поднялся жар... Октябрь, 27-е: в парной бане; русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов. Мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

*

В чём дело? Нам казалось — ещё двести, ещё сто метров, и мы прорвёмся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной док-

трины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию, и — дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и, в конце концов, дрались на своей земле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в Волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике — от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, поистине утоляющую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

17 час, пятница

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лобковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём концерте. Она была ещё достаточно бодрой. Сухонькая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку, князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt¹.

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

¹ Мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, тебя не достигнет, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас.

«Знаете ли вы, — сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожавших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, — знаете ли вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, — сказал я. — Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его Bursche¹, секретарша упростила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» — спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У неё были дети?»

«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»

«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?».

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

23 часа

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня трусом. Но одно дело стоять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое — подвалы

¹ Денщик.

гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенков в Плёцензее, где и сейчас ещё висят крюки на полке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, — может быть, и сам полковник Штауфенберг, — не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было спасти, — мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок втором, то хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход — убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю всё о том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всём.

Второй час ночи с пятницы на субботу

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось — стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, ему известно со

слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, так называемыми органами, сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, — значит, всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел — неизвестно; мне было ясно, что он долгое время сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольдштрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались равнополноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, — спросил я, — войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда немцы ушли из города — откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», — пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, — сказал я. — Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, но другого выхода не было».

«А её родители?»

«Они остались».

«Вы... то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»

От волнения я то и дело переходил на немецкий, где между «вы» и «ты» всё-таки есть разница.

«Пожалуйста», — он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

Суббота, 18 часов

Мне пришлось остановиться — не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повеваает; зябко, неуютно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Виттих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной Армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфоразработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же — он это сразу почувствовал — интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, — не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Тут сомнений быть не может: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине всё что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился — уж это-то, по крайней мере, известно наверняка — в марте 1943 года. Не позднее чем в августе германская армия покинула этот район. (Харьков был окончательно сдан 28-го.) Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугода. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «бóставка». Оказывается, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, — сказал он, — где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Якобы даже не знали, что там работали эти самые бóставки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя тогда отправили в приют?»

Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы всё ещё сидели в Английском саду.

«Ты не договорил», — сказал я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя я сам заговорил.

«Вэл, — сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искажённую.) — Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты

искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход — круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Странный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце — согласился бы я, окажись я на его месте?

«Вы правильно выразились, — сказал он. — Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Которую вы бросили на произвол судьбы...»

Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военнослужащие имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он молчал, а затем ответил, что в конце концов узнал, кто была хозяйка фермы. Её звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну, и...» — он пожал плечами.

«Что? что?» — спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил:

«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

Час ночи. Два часа ночи

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, и стало ясно — чем: у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности,

то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН¹. Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Вряд ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

Воскресный вечер

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замёрзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи — как много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наших наступающих войск была разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб.

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставле-

¹ Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).

ны цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гирями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит на огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в первую Мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

Ночь, продолжение

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видеоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — всё решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

3 часа

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией в первую зиму русского похода. Стою с тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как фюрер пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Да, мне повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титулы способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и кажется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как интуиция подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать... Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере. Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте и чтобы мы шли и шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и оберлейтенант W. озабочился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Всё это было нужно — для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла моя Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

Перед рассветом

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето остановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — всё отошло, всё это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из

разговоров с ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались только женщины, по-видимому, стали безработными. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу — разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. Судя по всему, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта икона в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, — но теперь разговор шёл уже по-немецки, — в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня — завтра мне, хочешь не хочешь, предстояло покинуть городок.

Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение — иначе не могу это назвать — сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это придет. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен теперь целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на западе в бледно-лиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пеленой туч, — на западе, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь война — это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошла взад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы я отошёл в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я подумал, что она хочет искупаться. И в то же время понял — тут была цель, было намерение, которое было вполне понятно ей самой, но которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, поднимая руки, в воду, я увидел её узкую талию и начало ягодич. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксюша...» — сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

*

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёгиваюсь. Зажигаются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, где-нибудь в России, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который всё помнит и всё забыл, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён тишиной, тяжёлый дорожный автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Опустившись на колено, он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, — весь этот бред, морок — есть именно бред и морок, и ничего более, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Её шаги.

Сера и огонь

Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не каждый день.

Заскрипела лестница от быстрых шагов, — в это время я сидел за завтраком, — молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь переступить порог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географических имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, что оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощённому тракту в город. Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о котором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит слово «деревня».

Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На другой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело с керосиновыми лампами.

Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выручал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, — тому, ей-Богу, легче жить. И, что самое замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что

нет надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжают выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты в моих хоробах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, напротив, люди одобряли, что я живу с одной вместо того, чтобы таскаться по бабам; бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и шло. И довольно обо мне.

Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель колхоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши места — теперь я уже мог называть их нашими — принадлежат к коренной России, лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправимая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвоей, в полосах света, просёлками посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серо-золотистых сосен и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла перед сараем.

Это было то, что когда-то называлось заимкой; невдалеке за лесом пряталась деревня, а здесь, над отлогим лугом, стояла убогая, в три окна, хижина. Поодаль сарай, за полуобвалившимся плетнём остатки огорода и отхожее место. Подняв морду, время от времени завывала и скулила осиротевшая собака. Следовательно из района уже успел поговорить с дочерью, ждали председателя. Один за другим вступили в сарай — следовательно, судмедэксперт, председатель колхоза; вошёл и я.

Пёс умолк. Пёс сидел на задних лапах, моргал тоскливыми жёлтыми глазами и, очевидно, спрашивал себя, как могло всё это случиться. Свет бил сквозь два окошка в двускатной крыше. В тёмном углу, так что не сразу можно было разглядеть, сидел, раскинув длинные ноги, на земляном полу, человек, у которого от головы осталась нижняя часть лица. Вокруг по стенам был разбрызган и висел ошмётками полузасохший белый мозг. Постояв некоторое время, мы вышли. И, собственно, на этом можно закончить предварительную часть моего рассказа; вопрос в том, надо ли продолжать.

Как я и предполагал, мне тут делать было нечего. Случай подлежал оформлению на районном уровне. Какие-то подвернувшиеся мужики вынесли труп, вынесли дробовик, всё было завернуто в брезент, погружено в машину, следователь сунул в карман паспорт самоубийцы, и все уехали — председательский джип следом за начальством. Я остался стоять перед своим фургоном. Стало совсем тихо. И был, как уже сказано, великолепный сияющий день. Желтоглазый лохматый пёс, понуриив голову, поплёлся к хижине.

Следом за ним двинулись и мы — я имею в виду дочь хозяина. Она подошла ко мне, когда всё кончилось, и спросила: помню ли я, как она приезжала в больницу с ребёнком? Мне показалось, что я узнал её. Там был огромный, с кулак, карбункул в области затылка, пришлось сделать большой крестообразный разрез и оставить мальчика в стационаре. «А где сейчас ваш сын?» Она ответила: в городе.

Хибарка оказалась благоустроенной и даже более просторной, чем выглядела снаружи, из сеней мы вошли в довольно опрятную горницу, и не сразу можно было догадаться, что здесь обитал нездешний человек. Над лавкой, между двумя низкими окошками, по русскому обычаю, в общей раме фотографии: пожилая чета, младенец с вытаращенными глазами, парень в гимнастёрке и совсем уже антикварный, жёлтый картонный портрет лихого унтера царских времён, в косо надвинутой фуражке, с чубчиком. Нашёл в сарае, сказала дочка, и это тоже, — и показала на стоявшую в углу прялку с колесом. Кроме стола и печки, в комнате находилась широкая железная кровать, аккуратно застеленная белым пикейным покрывалом, и поставец, служивший хозяину книжным шкафом. Она собрала на стол, внесла самовар. Присев на корточки, растворила нижние дверцы буфета — там стоял строй бутылок.

Теперь я мог её рассмотреть: дочь хозяина была женщина лет тридцати, невысокая, то, что называется пикнический тип: с короткими крепкими ногами, широкобёдрая, круглолицая, я бы сказал, довольно миловидная. Очень спокойные серые глаза, губы пухлые, бледные, никакой косметики, ни серёжек, ни бус. Прямые и тонкие, тускло-блестящие волосы цвета калёного ореха сколоты на затылке. Одета незаметно: светлое сатиновое платье, синяя вязаная кофта не сходитя на груди.

В деревне привыкаешь к молчанию, но здесь было так тихо, что, кажется, можно было услышать шелесты камыша на озере; до меня донёсся её голос, она говорила вполголоса с кем-то в сенях, и как-то сразу в комнату проник свет пожара. За окном яркозелёный луг отсвечивал металлом, и озеро, и опушка леса пылали зловещим оранжевым огнём, солнце било из-под полога густых серолиловых туч. Хозяйка,

оставив собаку в сенях, вошла в горницу. Вдруг стало совсем темно, зашвистел и пронёсся ураганный ветер, со страшной силой треснул гром, как будто кто-то чиркнул по небу гигантской спичкой, и жилище осветилось нездешним серным блеском. Несколько времени мы сидели за столом и ничего не слышали, кроме нарастающего, похожего на шум пожара, обложного дождя.

Водка была разлита по стаканчикам, я предложил, как водится, помянуть. Она отпила глоток, я было принялся за угощение. Она ничего не ела. Глядя на неё, и я положил свою вилку. Так мы сидели молча и неподвижно друг перед другом, и постепенно ливень стал утихать. Оловянный свет проник в горницу, это был нескончаемый день. Дождь змеился по стёклам низких окон. Я спросил осторожно о чём-то хозяйку, она смотрела на дверь, странное выражение изменило её лицо, она как будто прислушивалась. Пёс встревожился в сенях, было слышно, как он цокает когтями по полу туда-сюда. Я повторил свой вопрос. Она загадочно взглянула на меня, встала. Прежде я не заметил — рядом с буфетом в углу висело на стене поцарапанное зеркало.

Она прикинула к стеклу, послунив палец, провела по бровям, оглядела себя справа, слева, слегка одёрнула платье и стремительно обернулась. Медленно заскрипела низкая дверь. Нога в заляпанном грязью сапоге переступила порог. Вошёл, нагнувшись, самоубийца собственной персоной, с забинтованной головой.

Вошёл отец; дочь смотрела на него, закрыв рот рукой, спохватившись, бросилась к нему, стала стаскивать с него мокрую куртку, откуда-то взялось полотенце, она вытирала ему лицо, осушила кожу на висках, над бровями, вокруг намокшего бинта. Хозяин сидел на табуретке посреди комнаты. Она внесла лохань с водой, перелила из самовара горячую воду в большой жестяной чайник. «Давай, давай, — бормотала она, — небось измок весь...». Стащила с него кирзовые сапоги, в которых хлопала вода, и размотала потемневшие от влаги портянки.

«А это доктор, нечего стесняться...»

Человек проворчал: «Не нужно мне никакого доктора...»

«Может, перевязку сделать...»

«Не нужно никаких перевязок». Он стоял, высокий и тощий, в лохани, дочь поливала его из ковша. «Постой, чего ж это я», — пробормотала она, сбегала за мочалкой и мылом, тёрла спину, плечи, впалый живот, прошла вокруг длинного, бессильно отвисшего члена. Весь пол вокруг был залит водой. Несколько времени спустя мы занялись уборкой, я выплеснул в огород лохань с мыльной водой, она подтёрла пол, и понемногу, по мере того, как вещам был возвращён привычный порядок, улеглись суета и тревога. Я не пы-

тался подыскивать объяснение происходящему; молчаливо было уговорено, что никто не будет упоминать о том, что он наложил на себя руки. Игорь Петрович, укутанный во что-то, пил чай с малиной. Хлопоты сблизили нас, мы дружно выпили, а тем временем дождь снаружи перестал, луг заискрился цветами радуги, солнце слабо играло на поверхности озера.

«Кстати, а как... — заговорил я, — как же следователь?»

«Он в кабине сидел. Не заметил...»

«Не дай Бог, вернётся», — сказала дочь.

«Пускай возвращается. Ну-с, — глядя на меня, произнёс Игорь Петрович и поднял гранённый стакан, — со свиданьем!»

Он выпил, поморщился и потрогал голову.

«Болит?» — спросила она.

«Теперь не болит. Теперь уже не так болит. Всё позади!» — сказал он, усмехнувшись.

Я не удержался и всё-таки задал ему вопрос: почему он это сделал, в чём дело?

Дочь взглянула на меня с немым упреком. Игорь Петрович прищурился и сказал:

«В чём дело? А это не твоё собачье дело. Ты сиди и пей».

Мы молчали. Он добавил:

«Ты врач, ты и соображай. Может, мне жизнь надоела. Может, я психически больной. В чём дело... Всё ему надо знать».

«Отец, — проговорила она, — ты бы лёг...»

В эту минуту мы услышали рокот мотора, громко залаяла собака.

«А! — вскричал самоубийца, — лёгок на помине!»

Следователь из района придвинул к столу табуретку, сел и поставил портфель рядом, прислонив к табуретке. Портфель не хотел стоять. Следователь снова поставил портфель, и опять портфель съехал на пол. Следователь махнул рукой, крикнул, приосанился.

«Как же это так, — начал он, — Игорь Петрович... Нехорошо себя ведёте. Сбежать хотели?»

Дочь молча, поджав губы, принесла чистую тарелку, поставила перед приезжим древнюю гранёную рюмку на высокой ножке.

Следователь задумчиво поглядывал на дочь, скользнул взглядом по её стану, она придвинула к нему миску с маринованными грибами и блюдо с остывшей картошкой.

«От нас не убежишь», — промолвил он.

«Да ладно тебе», — сказал равнодушно самоубийца и налил гостю.

«Вот и доктор тебе то же самое скажет... Что ж, — вздохнул следователь, — за здоровье, что ль... или уж за здоровье поздно пить?»

«Поздно», — сказал Игорь Петрович.

«Тогда давай за хозяйку...»

Она пригубила свой стаканчик, мы все присоединились, следовательно взглянул на часы-ходики, взглянул на часы у себя на руке, покачал головой, наклонился к портфелю.

«Хорошо тут у вас на озере, караси, наверно, водятся, щучки...»

Игорь Петрович возразил, что он рыбу ловить не умеет. Да и мелкое озеро, чуть не до середины можно дойти.

Следователь из района извлёк паспорт из внутреннего кармана и добыл из портфеля служебный бланк.

«Хотел у себя там заполнить, да уж ладно. Коли такое дело... Коли вы, можно сказать, с того света явились... Так, — сказал он, — а чернил у вас не найдётся? Забыл, понимаешь, заправить самописку...»

Она принесла пузырёк с чернилами.

«Сего числа... какое у нас число-то сегодня? Господи, как время бежит. Составлен настоящий протокол в том, что мною... в присутствии дочери потерпевшего, понятых, председателя колхоза имени... Как он там у них называется?»

Я подсказал.

«...и главврача участковой больницы обнаружен труп гражданина, тэ-эк-с, какого такого гражданина?» — бормотал он, разворачивая новый и незаношенный, видимо, недавно выданный паспорт.

«Ну-ка покажи, — сказал самоубийца. — Да не паспорт, на кой хер он мне... Протокол покажи».

«А мы ещё не кончили... Вот у меня тут кстати к вам один вопросик».

«Покажи, говорю...»

«Игорь Петрович, всему своё время. Всё увидите, подписывать, конечно, не надо... Раз уж с вами такая приключилась история... А то скажут: как же так, он себя порешил, и он же подписался. Кстати: насчёт хозяйки. Это, если не ошибаюсь, ваша дочь?».

«Не ошибаетесь», — сказал мрачно Игорь Петрович.

Следователь вынул ещё одну бумагу, тетрадный листок, исписанный с обеих сторон.

«Нам с вами, ежели помните, уже приходилось встречаться. По поводу вот этого письма. Сами понимаете, сигнал довольно тревожный. Вот мне и хотелось бы узнать, как вы теперь, в свете, так сказать, последних событий, к нему относитесь».

«Как отношусь?» — спросил Игорь Петрович и вдруг с необыкновенным проворством выхватил у следователя протокол и письмо и порвал всё в клочки.

«Меня нет, — сказал он жёстко. — Нет и не было. Ясно? Вали отсюда, пока цел. Поезжай в морг. Там меня и найдёшь. Я там лежу... без головы. И чтобы духу твоего здесь не было, понял?»

Запомнился мне и другой день — сухой, бессолнечный и холодный, листья, усеявшие лужайку перед домом, успели пожухнуть, давно пора было выпасть снегу. День начался, как обычно, с утренней пятиминутки, после чего я обошёл свои отделения — общее, детское, родильное, сделал назначения, заглянул во флигелек, род приюта, где лежали потерявшие память, безродные и бездомные старухи.

Ненадолго вернулся к себе. Мои апартаменты были прибраны, натоплены, на плите горячий обед. На столе лежало письмо — единственная новость. Письмо могло подождать. Приём больных был с двух, амбулатория находилась против больничных зданий, через дорогу; войдя в тамбур, я, как всегда, услышал сдержанный говор, плач детей и кашель стариков. Часа два ушло на приём, на разговоры с завхозом о разных предметах. Потом явился шабашник, который подрядился с женой и тёщей перестлать полы в родильном, он стоял на пороге, с шапкой в руке, и следил восторженно-испуганным взором, как я наливаю в стакан воду из графина. «После, — пролепетал он, — не сейчас...», — очевидно, думая, что у меня как у медицинского начальника спирт всегда под рукой и я собираюсь угостить его с места в карьер

Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша...», — сказал я. Моя сожительница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным столом, сложив под грудь большие красные руки.

«Там письмо вам...»

«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался один. Начинало смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — терпеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.

«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните...»

Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной ученицы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким тазом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком и телосложением.

Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, присела перед буфетом? Она была в лёг-

ком платье, в синей вязаной кофте, ей можно было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы, короткая белая шея и, вероятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.

Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего человека и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не свидетельствовало о том, что ей это удалось.

«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал склонностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё останется между нами».

«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутствовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не написав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испугались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в валенках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или хочет что-то спросить, и когда он стаял с головы свой трех, то волосы у него были редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привыкать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с сыночком к маме».

«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за какого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто разучился

жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на работу можно только с пропиской, а прописаться, только если человек работает. Тут, между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём выдан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем к нам приехать. Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Написано только: “Согласно Положению о паспортах”, а что это за Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимающие вздохи — до первой ссоры; само собой, они догадались, что за птица мой отец. В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снимет трубку и позвонит в милицию, чего проще. Мать зовала в гости участкового, выставили угощение, отец сидел тут же, мрачный, насупленный, чокнулся раза два с милиционером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. Неизвестно было, где он вообще имел право жить».

Давно уже стемнело, я сидел за своим столом перед электрической лампой, благодетельным даром колхозного председателя.

Она писала:

«Надо было что-то придумывать, жизнь стала невыносимой: днём ссоры, а по ночам вечный страх, что придут проверять документы. И вот тут очень кстати распространилась мода — покупать дома. Якобы можно было без особых формальностей, за бесценок купить развалюху в заброшенной деревне. Мы с отцом стали ездить по субботам, наводить справки, забирались в глубинку, раза два вымокли до нитки под дождём; я заметила, что эти поездки подействовали на него благотворно, он как-то стал понемногу оттаивать. Однажды, когда мы дожидались поезда на безлюдном полустанке, он сказал: “Вот найду себе берлогу и залягу”. Я спросила, что это значит. “А вот то и значит, и ни одна сволочь меня выковырять не сможет”. — “Так и будешь лежать?” — спросила я смеясь. “Ну, не всё время. Гулять буду. Может, ты ко мне когда-нибудь приедешь”. Из этих слов я поняла, что он намерен поселиться там насовсем. “Приеду, — сказала я. — А что ты будешь там делать? В колхозе работать или как?” Он прищурился и переспросил: “Где?..” Я сказала: “В конце концов, ты ведь многое умеешь делать”. — “Да, — сказал он, — я много чего умею”. Мы сидели на платформе, он строгал прутик перочинным ножом. Потом сказал: “Я работать не со-

бираюсь. Палец о палец не ударю. И никто меня не заставит. С голоду подохну, а работать не буду”. — “Ну, а всё-таки: на что ты будешь жить?” — “Э, — он махнул рукой. — Как-нибудь проживу”».

«Долго не могли подыскать ничего подходящего, приезжали и видели одни печные трубы, всё сгорело во время войны, заросло травой; а там, где что-то осталось, наследники разобрали и вывезли срубы. Как-то раз мы ехали на попутном грузовике, отец сидел в кузове, я в кабине, шофёр стал заигрывать со мной, я отмахивалась, это кто же будет, спросил он и ткнул назад большим пальцем, дед твой, что ли? Подъехали к районному центру, и оказалось, что улица вся состоит из домов, перевезённых из деревни. Отец не хотел искать в окрестностях, хотел куда-нибудь подальше от начальства. Всё же мы зашли в один дом, чтобы разузнать что и как. Вот так всё и получилось. Если бы не зашли, если бы проехали, может, ничего бы и не было, не случилось бы того, что вам известно. Да ведь судьбу, как говорится, конём не объедешь».

«Нам назвали одну женщину, родственницу хозяев, — самих давно след простыл, — и мы с ней довольно быстро сговорились. Спрашиваем: далеко ли? “Да нет, быстро доедете, дорога сейчас хорошая”. Тащились битых два часа. Но он был только рад: чем дальше, тем лучше. Изба оказалась хорошая, крепкая, деревенька тихая, одни старухи, — что ещё надо? Но тут выяснилось, что есть ещё домишко на берегу озера. Наняли кого-то из местных, перевезли кое-какие вещи. Собственно говоря, у отца не было никакого имущества. Я хотела дать ему денег. Он сказал, что у него есть немного».

«И он зажил — не знаю, можно ли сказать: в своё удовольствие. Думаю всё-таки, что да. По крайней мере, никто ему теперь не мешал жить. Ему нужно было только одно — чтобы не мешали ему жить. Так он мне и ответил, когда я приехала его навестить и спросила, доволен ли он, что забрался в такую глушь. Конечно, доволен. А если что-нибудь случится? Он усмехнулся и сказал, что случиться что-нибудь может только когда вокруг люди. “Кто тебе мешает? мы?” Он пожал плечами, его обычное движение, — и я, конечно, понимала, что он хочет сказать: с матерью они бы как-нибудь нашли общий язык, обо мне и говорить нечего; не давало жить начальство. Это слово мой отец употреблял очень широко. Подразумевались, конечно, прежде всего Органы и милиция, я сама видела, как менялось его лицо, стоило ему заметить издали синюю фуражку. Это за мной, говорил он. — Да ведь он идёт в другую сторону. — Мало ли что, бережёного Бог бережёт, отвечал мой отец, и мы поскорей сворачивали за угол. Он говорил: они специально для этого существуют. Напрасно я твердила ему, что времена теперь уже не те, он только усмехался и кивал головой: дескать, знаем мы... Для него ничего не изменилось».

«Всех людей он делил на пьяниц, милиционеров и стукачей. Я засмеялась: “Так уж и всех?” — “В общем, да”. — “А я? К кому я отношусь?” — “Ты пьяница”. — “Да ведь я не пью”. — “Ты потенциальная пьяница. И можешь, — добавил он, — этим гордиться. Пьяницы — это единственные порядочные люди”. Может, он не так уж был неправ, как вы считаете?»

«Что касается милиционеров, то подразумевалась не только милиция, но и вообще любое начальство. Иногда он говорил просто: “они”. Они замышляют то-то, сделали то-то. Они — это секретари, директора, заместители, председатели, заведующие всё равно чем, или какая-нибудь, с выщипанными бровями ведьма в отделе кадров, какой-нибудь начальник станции или вагонный контролёр; все были заодно, и все против таких, как он. От всех надо было ждать, что они обязательно к чему-нибудь придутся. Начнут проверять анкету, звонить, выяснять, водить носом. “У них, — говорил он, — знаешь, какой нюх?” Спасайся кто может. Они — как небо над нами, тяжёлое, всё в тучах. И в конце концов действительно получалось так, что все, от самых высших руководителей до мелкой сошки, были представителями какого-то вездесущего таинственного начальства, а самым зловещим, самым коварным и беспощадным начальником для моего отца был, наверное, Бог. Именно он “мешал жить”. Конечно, если бы у отца спросили, верит ли он в Бога, он бы только усмехнулся. Да и кто верит-то? Но на самом деле получалось, что как раз он-то больше всех и верил».

«Когда он поселился, мы условились, что он сам меня пригласит, он хотел осмотреться, хотел, чтобы люди в деревне привыкли к нему, а главное, привыкли к мысли, что он живёт на законных основаниях. В колхоз его, конечно, никто не гнал. Он умудрился кое с кем познакомиться. К моему удивлению, оказалось, что он звонит из сельсовета. Он договорился с председателем, за мной прислали машину на станцию. Я приехала к нему с полными сумками, но было видно, что он не голодает, в избушке тепло, перед домом поленница, он завёл себе собаку. Я устроила генеральную уборку, на другой день мы гуляли — чудная природа, и я благословляла судьбу, что он, наконец, нашел себе пристанище. С тех пор я навещала его, иногда с мальчиком; один раз, если помните, пришлось ехать к вам в больницу с нарывом на затылке. Мой отец был очень ласков с внуком, насколько он вообще был способен относиться к кому-нибудь ласково и без обычной своей подозрительности; ходил с ним по грибы, ловил рыбу — правда, ничего не поймали, — даже отправился с ним как-то раз на охоту с двустволкой, которую выменял у какого-то пьяницы. Всё напрасно: мальчишка так и не привык к нему, дичился; тут, я думаю, было сильное влияние бабушки. Моя мама была недовольна тем, что я поддерживаю отношения с отцом. А тут и зима подступила; я стала приезжать одна».

«Как она догадалась о том, что там назревало и должно было в конце концов случиться, ума не приложу, хотя, конечно, у баб на эти дела всегда тонкий нюх. Меня она всегда встречала недоброй улыбкой. Никогда не называла его своим мужем, и никогда не говорила: твой отец. “Ну как там твой?” И больше никаких вопросов не задавалось».

Дойдя до этого места, я почувствовал, что вот-вот произойдёт нечто важное — или уже происходит. Без шапки, в наспех наброшенном пальто я сбежал вниз и вышел на крыльцо. В дымно-чёрном небе кружились снежинки, всё чаще и гуще. Сиреневый снег медленно падал, первый снег, как в детстве, летел на ладонь и ресницы, снег лежал на земле, на ветвях, укутал крыши, тишина и покой простёрлись над всей округой, и сквозь мглу слабо светились огоньки больничных корпусов. И каким-то мороком показалась мне история, в которую я оказался втянут, хотя не имел к ней ни малейшего отношения. Далёкое апрельское утро, поездка с председателем, озеро в камышах, и сарай, и следователь, и закутанная в чёрный платок дочь, и казнивший себя, неизвестный человек, — всё как будто приснилось. Я поднялся к себе, лампа горела на столе, никакого письма не было. В растерянности, и в то же время чувствуя тайное облегчение, даже с каким-то злорадством, я озирался вокруг, заглянул под стол, чтобы убедиться, что там его нет. И в самом деле, ничего не увидел. Дьявол играл в прятки. Письмо лежало у меня в кармане.

«Однажды я приехала, как бывало нередко, на попутной машине, шла от деревни пешком, вхожу, он лежит на кровати. Я разулась, развязала платок, распаковала сумки. Он сказал: “Отдохни, приляг”. Я легла рядом с ним. Стала что-то рассказывать, он прервал меня. “Тут такая история, — сказал он. — Меня вызывали”. — “Кто вызывал?” Оказалось, мальчишка принёс повестку из военкомата. А до военкомата в район ехать и ехать. Мой отец пришёл в сельсовет, чтобы позвонить по телефону, спросить, в чём дело. Нет, сказали, это не военкомат, а вот вы тут подождите. Через два часа приехал какой-то начальник. Я уже объяснила вам, что для отца все были начальниками».

«Я спросила, о чём же его допрашивали. Нет, это не был формальный допрос, никакого протокола не составляли. С ним хотели побеседовать. “Ну, уж я-то знаю, что это значит, когда они говорят — побеседовать. Это даже ещё хуже, чем допрос”. Я спросила, почему. “Да потому, что они потом могут написать всё что хотят”. — “Но ведь и в протоколе можно понаписать что угодно”. — “Ну да... но можно всё-таки сопротивляться... не подписывать. А тут и подписи не надо. Побеседовали, и всё”. Я продолжала его расспрашивать, но он что-то скрывал. Так о чём же всё-таки беседовали? Кто это был? “Следователь, кто же ещё. Из района»».

«Я знала его мнительность, стала его успокаивать, говорила, что это ровно ничего не означает. Живёт посторонний человек, ползут разные слухи, надо проверить, что за личность, вот и всё. Знают ли они, что он вернулся из заключения? Спрашивали о паспорте, о прописке? Нет, не спрашивали, да и какая в этом медвежьем углу может быть прописка. О том, что он сидел, знают. Но это их не интересует. А что же их интересует? Их интересует, посещают ли его родственники. Он ответил, что у него родственников нет. Но кто-нибудь всё-таки приезжает? Да, приезжает. Дочь. И всё? И всё. Я чувствовала, что он чего-то не договаривает».

«Дорогой доктор, вы, конечно, спросите: было или не было? Да, было. Не тогда, а позже. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал или что-нибудь такое, всё произошло, как вообще всё происходит в жизни: помимо нашей воли. Но я забегая вперёд».

«Я долго не приезжала, мальчик снова болел, потом какие-то дела; он тоже не звонил; я забеспокоилась и позвонила сама в сельсовет. Мне ответили, что отец давно не показывался. Я приехала и спросила, в чём дело. Куда он пропал? Никуда не пропал. Просто не хотел меня видеть. Чем же я его прогневила? Ничем; у тебя, сказал он, своя жизнь. Мы немного прошлись, осень была в самом начале, он сидел на замшелом пне и строгал прутик. Вечером мы поужинали, выпили водки, я спросила в шутку: наверное, он кого-нибудь себе нашёл в деревне? Давно пора».

«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хозяйничает, — была бы я рада?»

«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, — ведь это и было то, о чём он мечтал? — вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёг и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, — сказала я. — Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” — “Сплю”. — “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».

«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».

«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».

«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала — на разведку”. — “Мать? приезжала?” — “Да”. — “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” — “Не знаю, может, и видели”. — “Откуда же это известно?” — “Ниоткуда. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа”».

«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».

«Ты что, — сказала я холодно, — рехнулся? Ты это всерьёз?» Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил — как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся”».

«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” — “То самое и хочу сказать. Подойди ко мне”. — “Можно говорить и оттуда”. — “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме. “Ты куда?” — спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла... “Ты мне дочь? — спросил он. — Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет...” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” — “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».

«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, — он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, — и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто ооченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела — от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».

«А наутро... что же было наутро? Странно сказать — ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться... Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей — мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».

«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так — я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, — хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились — до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, — или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. — “Почему?” — спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель — среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвончиком. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, — сказал он, — насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею... Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, — сказал он, — я так и знал. Любить меня нельзя”. — “Нельзя”, — сказала я. Он ответил со злобой — и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х... мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, — сказала я, — ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла — он лежал, подложив под голову жилистые руки, — и сказала: “Да, ты прав. Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость — это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?”». Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью...”».

«В следующий раз — я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, — в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я усталилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. — “Куда?” — “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места — там”».

«Я встревожилась, но на мои расспросы — что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? — он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там... что ж, — он вздохнул, — там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольнонаемным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен...”»

Я сказала: «Мне».

«Тебе? Может быть... Знаешь что? — проговорил он. — Я всё обдумал. Поедем со мной”. — “С тобой?” — “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, — сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, — а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».

«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата...»

Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением. Моя жизнь продолжалась. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; возможно, понадобится перелить кровь.

Хроника о Картафиле

Выставка в Базеле оживила в моей памяти давнее увлечение. Будучи в этой области дилетантом, я прекрасно понимаю, что мои попытки прогнозировать будущее не заслуживают серьёзного обсуждения. Речь идёт, как уже сказано, об увлечении, «хобби», но разрешите мне со всей подобающей скромностью сослаться на авторитетных учёных, отдавших ему дань.

Если мы согласимся, что всякая притязающая на научность теория должна не только объяснять факты, но и уметь их предсказывать, мы должны будем потребовать от истории, чтобы она поведала нам не только о прошлом, но и о будущем. Тогда она станет частью того, что можно назвать Общей Теорией Гадания, — и вернётся к забытому наследию, к профетическим грёзам и мрачным пророчествам позднего средневековья, о которых напоминает выставка в базельском музее.

Я вспоминаю превосходно воспроизведённый рабочий кабинет знаменитого представителя эпохи Возрождения — гуманиста, философа и скептика Агриппы Неттесгеймского и его прибор, некогда породивший так много слухов. Полюбовавшись кабинетом (искусно подсвеченная фигура учёного за пультом помещалась в глубине, потолок тонул в полумраке, всё это создавало эффект таинственности), я пожелал узнать, какие источники были использованы для реконструкции хроноскопа. Мне было отвечено, не без некоторого высокомерия, что чертёж этого устройства имеется в манускрипте XVI века, возможно, принадлежащем самому Агриппе. Я не мог отнимать много времени у г-на директора, да и не был уверен, что он сможет удовлетворить моё любопытство, и спросил на всякий случай: имеется ли в виду рукопись под названием «Хроника о Картафиле»? Да, сказал он, а вы откуда о ней знаете? Я заметил, что, хотя достоверность данного источника оспаривается, из него можно заключить, что прибор был по крайней мере однажды продемонстрирован и притом с ошеломляющим результатом. Ну, это уже домыслы, сказал директор, и разговор был окончен.

Мне остаётся добавить, что в моей библиотеке имеется комментированное издание этой рукописи. Очень содержательные примечания, составленные Герхардом Гюпнером, подсказали мне подробности истории, которую я предлагаю вниманию читателя. Моё предположение, что мы имеем дело в данном случае с одним из самых удивительных

предвидений, несколько ослабляется несовпадением дат. Дело в том, что известная конференция высших партийных и государственных чинов рейха в Ванзее, — читатель поймёт, почему я о ней вспомнил, — состоялась в 1942 году. Рукопись же, если она принадлежит Агриппе, не могла быть составлена позднее 1535 г., когда знаменитый чернокнижник скончался. Однако в масштабе столетий так ли уж важно опоздание на несколько лет?

«Хроника о Картафиле» (под таким названием она значится в каталоге Майера; дословный перевод латинского заголовка: «Верное и правдивое известие о некоем жестокосердном еврее Картафиле, наказанном за проступок, коему нет прощения ни в мире сём, ни на небесах») относится к обширной серии полуфольклорных сочинений о бессмертном скитальце. Многие из них остались памятником ненависти и фанатизма. Иные отмечены своеобразной поэтичностью. Любопытно, что автор «Хроники» как бы желает положить конец всем дальнейшим легендам и домыслам, утверждая, будто с тех пор Агасфер (более частое имя) больше не появлялся. В любом случае их загадочная двусмыслица вызывает недоумение. И я не могу не сказать о тяжёлом чувстве, испытанном мною при чтении этого «известия», которое передаю здесь, не пытаясь имитировать испорченную латынь подлинника — язык смутного века, потрясённого тёмными знаменьями и сомнительными успехами нового знания. Вопреки своему названию, век этот не возродил ни Афины, ни Рим.

Итак, с чего началась эта история? В один ничем не замечательный день в кабинет Агриппы вошёл неизвестный человек; хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подавания, ибо пришёл с другой целью. С какой? Последовал невнятный ответ, из которого можно было только заключить, что гость выдавал себя за того, чьим именем озаглавлена рукопись.

«Чем ты это докажешь?» — спросил учёный.

«Да вот хотя бы этим...» — пробормотал странник, и оба взглянули на картину, висевшую над дверью. Агриппа придвинул лесенку, в пыльном солнечном луче, водя лупой по холсту, отыскал в толпе зевак, обступивших Лобное место, фигуру, на которую намекал гость. Сходство не вызывало сомнений.

Гм, сказал Агриппа. Он не стал выяснять, откуда, собственно, живописец мог знать, как выглядел Вечный Жид. Усевшись перед высоким пультом, он спросил себя, зачем судьба напоследок явила ему человека, о котором никто в точности не знал, существует ли он на самом деле.

Вслух он спросил: как это произошло? Как было дело. «Если, конечно, ты ещё помнишь».

«Как не помнить», — возразил старец. Оба сидели друг перед другом, гость ел варёные бобы, а за окном над гонтовыми и черепичными крышами садилось солнце. Оба думали о Городе в седловине гор, о покрытых пылью паломниках, о взбудораженной толпе. Сколько чудодеев, самозванных спасителей и бродячих пророков видели эти холмы! Прогнав прочь от своего дома ложного мессию, который просил помочь ему дотащить тяжелый, сколоченный крест-накрест снаряд — орудие предстоящей казни, — Картафил пошёл за толпой. День был жаркий, а он и тогда уже был немолод. Три виселицы стояли на холме, оцеплённом легионерами.

После этого случилось нечто малопонятное. Картафил заблудился в городе, который знал, как свои пять пальцев. Он оказался за внешней стеной. Повернул назад, побрёл через лабиринт узких улочек вокруг Овечьего рынка, снова вышел к воротам, так повторилось несколько раз.

«И это всё? — спросил Корнелий Агриппа. — Мне кажется, ты кое-что утаил. Кое-что важное».

«Мне скрывать нечего...»

«Значит, забыл. Он должен был тебе сказать... Он ничего не сказал?»

«Он сказал: подожди. Я приду снова».

«И больше ничего?»

«И больше ничего».

«Очевидно, это позднейшие домыслы, — проговорил Агриппа, думая о своём. — Ты говоришь, что не смог вернуться домой... Значит, с тех пор ты и ходишь?»

Старик пожал плечами, развёл бронзовыми руками.

Легко было убедиться, глядя на него, сколь нелепы многочисленные, якобы достоверные сообщения о вечном скитальце, фантастический возраст не сделал его непохожим на тысячи других стариков. Однако его явление поставило перед учёным важный вопрос. Отсутствие смерти, если вдуматься, равнозначно отсутствию рождения. Бессмертие предполагает бесконечность существования в обе стороны; не умирает лишь тот, кто никогда не рождался, другими словами, тот, кто не сотворён. Не сотворён же единый Бог. В этом, по мнению Корнелия Агриппы, заключалось слабое место в христианском учении о бессмертии души.

«Я не христианин, — заметил Картафил, словно угадал его мысли, — ваши контроверзы меня не интересуют. Ты мне только скажи. Выходит, что и я когда-нибудь помру?»

«Всё может быть. Не исключено, что Он имел в виду именно это».

«Я не понимаю!» — вскричал старец.

Агриппа усмехнулся.

«Клянусь, я не видывал иудея, который выдавал бы своё происхождение больше, чем ты. Эта борода, эти вылупленные карие глаза. Визгливый голос... Что ж тут не понимать? — возразил он. — Тебе сказано: будешь странствовать по земле, покуда Я не приду снова».

«Всё это я уже слышал. Собственно говоря, вам бы надо сказать мне спасибо!»

«Кому это, “нам”?»

«Всем вам, — буркнул гость. — Всем! Тычут мне в нос: проклят, проклят... А в сущности, должны мне поклониться и сказать: спасибо. Ведь я единственный, кто Его видел. Единственный!»

«Какие у вас доказательства?» — продолжал он. — Можешь ты мне объяснить? Нет у вас никаких доказательств! Слухи, сплетни. Рассказы не заслуживающих доверия людей, да и то по большей части с чужих слов... А я живой очевидец. Можете меня гнать, можете награвливать на меня чернь, собак, сторожей. Или я уж не знаю кого... Но я единственный, кто видел Его своими глазами, — вот как тебя сейчас вижу. Единственный, кто может сказать, что Он действительно существовал — кем бы Он ни был...»

Долгая речь утомила старца, он протяжно вздохнул, опустил на грудь лысую загорелую голову, и послышалось лёгкое посапывание.

Хозяин прошёлся по комнате.

«Не обращай внимания, — вдруг произнёс Картафил, — время от времени я... теряю нить беседы, но это ничего не значит. Это бывает и с людьми моложе меня. Видишь ли, — заговорил он бодрым голосом, как ни в чём не бывало, — я страдаю бессонницей, порой не сплю месяцами. И лишь такой кратковременный отдых позволяет мне восстанавливать силы. Во всяком случае, я сохраняю над собой контроль и, надеюсь, ещё не впал в слабоумие... А иногда я вижу сны. Из-за того, что мой сон некрепок, мои сновидения необычайно яркие, так что если бы я каждый раз видел во сне одно и то же, то, пожалуй, не мог бы решить, который из двух миров существует на самом деле: мир моего бодрствования или мир видений!»

«Любопытная мысль», — отозвался Агриппа. День угас, в кабинете учёного стало сумрачно.

Он осведомился, чему всё-таки он обязан честью этого посещения.

«Вот, вот, — сказал Картафил, — я к тому и клоню. Как ты думаешь: можно доверять снам?»

«Если ты подразумеваешь то, что народное суеверие называет вещами снами, то моё мнение именно таково: это суеверие. Однако я думаю, что поэт подразумевал другое, говоря: *Quid sit futurum cras, fuge querere*¹».

¹ Что завтра будет, не старайся выведать. (*Гораций, ода I, 9*).

«Что же именно?»

«Он имел в виду научное предсказание будущего и... предостерегал против неосторожных прогнозов».

«Понимаю. Но мне... — и гость вздохнул. — Мне достаточно будет знать, что когда-нибудь проклятье будет снято. Я устал. Ужасно устал. Тому, кто таскает на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, не позавидуешь... Одним словом, я хочу знать, когда именно закончится моя жизнь».

Знаменитый астролог пожимает плечами, я же сказал, говорит он, в день, когда совершится Второе пришествие, если верить тому, что ты рассказываешь, — в этот день тебе будет возвращён покой».

«Да нет же...» — слышится плачущий голос в густеющих сумерках. И Вечный Жид протягивает скрюченный палец к нише, где, наполовину задёрнутый занавеской, помещается аппарат, о котором автор хроники говорит, что его необычайность не бросалась в глаза.

Ах вот оно что. Хозяин смотрит на гостя.

«Кто бы ты ни был, — медленно произносит он, — я думаю, что тебе лучше уйти».

Оба молчат.

«Тебя привела ко мне моя слава. Но обо мне ходят разные толки. Например, ты можешь услышать, что на меня набросился дьявол в образе чёрного пса с огненными глазами и причинил мне увечье, которое несчастный Абельяр в истории своих бедствий называет жесточайшим и позорнейшим... Бедный пудель стал жертвой народного суеверия. Представляешь, они убили его палками. Они сами, если на то пошло, не лучше дьявола. Дьявол престонародья... Одним словом, Картафил, я советую тебе обратиться подобру-поздорову».

Странник покачал головой, и снова наступило молчание.

«Это рискованный опыт».

Старик возразил: «Что мне терять?»

«Я тебя предупредил, — сказал Агриппа. — Это очень опасный опыт: тебе придётся стать соучастником того, что произойдёт. Только так ты сможешь увидеть будущее...» И далее было произнесено несколько замысловатых фраз касательно философских и естественнонаучных основ предстоящего эксперимента.

Изложить принцип действия хроноскопа на языке того времени, вероятно, не составило бы труда; к несчастью, этот язык не более разумителен, чем язык хеттов или шумеров. Впрочем, кое-что можно интерпретировать с позиций оптики и стереометрии мнимых изображений. Кристалл, представляющий собой главную часть прибора, висит по обе стороны стекла, словно предмет и его отражение в зеркале, причём отражением нужно считать то, что ближе к нам. Иначе говоря, мы

находимся по ту сторону зеркала: мы сами — чьё-то отражение. То, что предстаёт глазам зрителя, есть следствие физических законов, но также образ, созданный им самим, ибо «игра лучей в кристалле стала частью его внутреннего зрения». Так, судя по всему, следует понимать слова Агриппы Неттесгеймского (или того, кто был автором «Правдивого известия») о том, что всякий созерцающий стекло должен превратиться из наблюдателя в соучастника.

Между тем Агриппа всё ещё колеблется.

«Я обязан был тебя предупредить, — повторил он, не обращая внимания на протестующий жест пришельца. — Ты говоришь, тебе нечего бояться, но ты не защищён от безумия. Перед тобой нечто такое, что представляет собой отступление от мирового порядка, подобно тому, как ты сам — отступление от мирового порядка... Видишь ли, меня давно соблазняла мысль воспроизвести в опыте то, о чём говорит Блаженный Августин: *id quod esse aut cogitari melius nihil potest*, то есть “то, лучше которого ничего не может быть и невозможно себе представить”. Имеется в виду абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие, и если ты вспомнишь, что такого рода бытие он считает прерогативой Бога, то поймёшь, сколь опасно было моё предприятие».

Он продолжал:

«Абсолютное бытие есть не что иное, как вечность, актуализованная в настоящем, другими словами — вечно длящееся настоящее. Ты следишь за моей мыслью? В рамках такого бытия не существует событий, которые безостановочно проваливаются в яму прошлого. Событиям возвращён их первоначальный смысл; вдумайся в это слово: событие, нечто сосуществующее, а не мимолётное. Я иду, — сказал Агриппа, — путём, противоположным тому, которым следует большинство философов и богословов. Как и они, я отправляюсь от общих истин, как и они, исхожу из теории; ибо это царский путь всякого познания. Но они используют умозаключения для доказательства бытия Божия, например, ссылаются, вслед за Ансельмом, на необходимость совершенного бытия, чтобы умозаключить, что абсолютное, неразрушимое, не исчезающее в воронке времён и не рождающееся из ничего бытие есть такая же несомненная реальность, как реальны мы с тобой... Как человек науки я исхожу из убеждения, что всё, что реально существует, в принципе может быть воспроизведено. Но! Внимание, Картафил, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Создав модель такого бытия, я столкнулся с чудовищным казусом. Явление, о котором я говорю, несомненно, будет оценено, когда теология из чисто умозрительной дисциплины превратится в экспериментальную науку. Однако в моих собственных опытах оно поставило меня на грань опасности, перед которой бледнеют все ужасы наших дней».

«Итак, не буду тебя пугать, хотя вряд ли что-нибудь способно внушить тебе страх, — скажу прямо: моя лабораторная вечность, воссозданная в этом кристалле, едва только я успел её актуализовать, начала продуцировать собственное время!..»

Он умолк. Дед моргал, не спуская глаз с чародея и, очевидно, сясь понять, что означает вся эта чертовщина.

«Позже, листая Confessiones, поистине бессмертную книгу, я нашёл объяснение. Августин задаётся вопросом, почему Бог не сотворил мир раньше, чем содеял это на самом деле. Его ответ так же прост, как и неожидан. Потому что для божественного бытия нет понятий “раньше” или “позже”: абсолютное бытие существует вне времени. Но далее он пишет, что невозможно представить себе, чтобы Творец предшествовал времени, ибо это означало бы, что и он соотносится с временем, иначе говоря, подчинён времени. Что же из этого следует, как не то, что Творец по необходимости создал наш временный мир, что он, ежели на то пошло, был обречён исторгнуть из себя этот мир, суций во времени? В противном случае Бог существовал бы до мира, а это противоречит исходной посылке — его пребыванию не “до” и не “после” преходящего времени. Другими словами, абсолютное и неизменяемое бытие не может не порождать время. Диву даюсь, как я мог упустить это из виду!»

Светлый пар поднимается от стекла. Кристалл растёт и постепенно растворяется в воздухе.

«Я ничего не вижу...» — лепечет гость.

«Терпение. Сосредоточься».

«Но я в самом деле ничего не вижу. Я уже и кристалл не вижу».

«Это потому, что ты внутри кристалла».

Когда несколько времени спустя Корнелий Агриппа окликнул гостя, ответа не было. Старик сидел в глубокой задумчивости, расставив ноги в разрушенных сандалиях, глядя в пол.

«Ты спишь? Картафил!»

«Нет, не сплю, — был ответ. — Я вспоминаю. Вернее, стараюсь припомнить, о чём я вспоминал».

«Видишь ли ты кристалл?»

Странник поднял голову.

«Ещё один?» — спросил он.

«Да. Сейчас они совместятся... Внимание. Только не пытайся встать. Дай глазам привыкнуть к слабому свету. Смотри в одну точку. Теперь осторожно перемещай взгляд, не отходя далеко от точки. Перемещай взгляд кругами...»

Прошло ещё сколько-то времени, хотя не следует забывать, что смысл подобных выражений был уже не одинаков для экспериментатора и для гостя. Со стариком творилось что-то странное, он разинул

беззубый рот, глаза, устремлённые в пустоту, вылезли из орбит. Он подался верёд, закачался и запел, залопотал по-арамейски. И Агриппа понял, что опыт не удался. Перед ним был старый безумец, один на один со своими галлюцинациями; незачем было предостерегать его, он давно потерял рассудок.

«Ну как? — осторожно спросил Агриппа, подождав, пока прибор остынет, а гость придёт в себя. — Как ты себя чувствуешь?»

Дед растерянно смотрел на него. «Причём тут я», — пробормотал он.

«Я спрашиваю, как ты перенёс опыт».

«Это был Он», — быстро сказал Вечный Жид.

«Что?»

«Это был Он».

Агриппа нахмурился.

«Ты хочешь сказать...?»

«Да, — промолвил Картафил, — я именно это хочу сказать».

«Ты Его узнал? Ты в самом деле Его увидел?»

«Как тебя сейчас вижу».

«Вот оно что. Значит, Он выполнил своё обещание», — задумчиво проговорил Агриппа.

«Хуже! — простонал старик, и глаза его наполнились слезами. — Гораздо хуже!»

Учёный провёл рукой по лицу, попросил гостя успокоиться, рассказать всё по порядку.

«Не могу! Я им хотел объяснить, но они меня не слушали».

«Кто — они?»

Старик тряс бородой и ничего не мог ответить.

«Картафил, — мягко сказал Агриппа. — Даже если это было дурное видение, а я склонен думать, что это так, ты ведь сам говоришь, что не всегда можешь отличить сон от яви... так вот, даже если это сон, расскажи мне...»

«Они все думали, что их ведут в баню, — сказал старик. — Я им говорил: посмотрите наверх, видите эту трубу? Видите дым?.. Вас всех сожгут, вам осталось жить несколько минут! Но они меня не слушали».

«Ты говорил на древнем языке, они не поняли».

«Старики знают арамейский. Но они не хотели понять. Не хотели слушать. Они думали, что с ними поступают как с людьми».

Чародей молча похлопывал себя по колену, оба сидели в полутьме друг против друга и думали — каждый о своём.

«Когда это будет?» — спросил гость.

«О, — сказал, очнувшись, Агриппа, — это всего лишь будущее. Оно наступит нескоро».

«Когда?»

«Не всё ли равно...»

«Когда?» — вскричал странник.

Агриппа встал, зажёл свечу и развернул огромную книгу, это были чертежи и таблицы.

«Минутку, — пробормотал он, воткнул циркуль и провёл круг. — Потерпи ещё четыре века. Тогда закончатся твои скитания... Послушай, Картафил, — сказал Агриппа, который испытывал тяжёлое недоумение, так как понимал, что легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены. Ведь это значило бы признать сумасшедшим Творца. — Послушай... Видит Бог, я хотел бы оказаться обманщиком. Но допустим, что ты прав и то, что увидел, не было порождением расстроенного ума. Выходит, всё сбудется! Он же тебе говорил — жди Меня, Я приду во второй раз. И Он пришёл! Скажи мне только одно: ты не ошибся? Ты действительно Его узнал? Ведь прошло столько лет с тех пор, как ты Его видел. Как Он выглядел?»

«Так же, как в Иерусалиме».

«И что Он сказал?»

«Ничего не сказал. Он шёл вместе со всеми».

«Куда?»

«Хм, куда... Туда же, куда все. В печь, или как там она у вас называется».

«Почему у нас, причём тут мы. В какую печь, что ты несёшь?»

«В огненную печь»

«Зачем?»

«Как это — зачем. Чтобы сгореть!»

«Этого не может быть», — сказал Агриппа.

«Почему?» — спокойно возразил гость.

«Потому что, в отличие от тебя, он бессмертен. Он сошёл с небес. Он Сын Божий! — закричал Корнелий Агриппа. — Можете ли вы это, наконец, понять?»

«Он сын нашего народа, — сказал Картафил. — И я своими глазами видел, как Он шёл вместе со всеми в дом смерти».

«И не сопротивлялся?»

«Никто не сопротивлялся».

«И... никто не пал перед Ним на колени?»

«Кто же это должен был пасть?»

«Стражники, солдаты!»

«Ха. Я думаю, — сказал Картафил, — им было не до этого».

Стиснув руки, Агриппа качал головой, промолвил:

«Нет, ты не в своём уме. Ты не понимаешь, что ты говоришь!»

Старец сказал:

«Что тут ещё понимать? Я хотел получить ответ и узнал ответ. Спасибо».

«Не о том речь. Я объясню...» Вместо этого чародей погрузился в раздумье, и чем больше он думал, тем ясней сознавал непозволительность своих мыслей. Никто не мог понять, что означало пророчество, думал он. Ни этот дед, ни его соплеменники. А оно могло означать только одно. Я буду жить, покуда ты жив. До тех пор, пока ты топчешь землю, пока ты и вы все живы и свидетельствуете обо Мне, буду жив и Я. Ради этого вам подарено будет бессмертие... на какое-то время.

Да, размышлял Агриппа, ибо считал своим долгом додумывать всё до конца. Пророчество не могло означать ничего другого, как признания роковой связи. Проклятье тебе и всему вашему племени, но когда вы уйдёте, уйду вместе с вами и Я... Вас будут гнать ради торжества веры, нашей веры, потому что вы для неё вечный упрёк, но когда дело дойдёт до последней черты, когда вас, наконец, истребят за то, что вы отступили от Меня, всех истребят, старых и молодых, учёных и неучей, и древних старух, и калек, и младенцев, когда вы станете столбом дыма и чёрным прахом покроете землю, — тогда рухнет и обратится в прах наша святая вера. Вместе с вами, с тобой, презренный Агасфер, сожгут и Меня. И больше Я уже не воскресну. Я больше не вернусь! Вот что означало пророчество. Боже правый, думал Агриппа, какое счастье, что это будет нескоро.

Вслух он сказал:

«Я понимаю, это может случиться с каждым; ты стар. Твоё зрение ослабело. Ты был слишком потрясён увиденным... Каждый может ошибиться».

«Как это, ошибиться», — буркнул старец.

«Очень просто. Видишь ли, — продолжал Агриппа, — то, чего не может быть, никогда не бывает. Говорю это тебе как человек науки. Этого не может быть».

«Ты так думаешь?»

«Я в этом уверен».

«Я засиделся, — сказал Картафил. — У меня к тебе ещё одна просьба. Последняя, и я покину твой дом».

Вздыхнув, Корнелий Агриппа поднялся, задул свечу и подошёл к зеркалу. Прошло много времени, — как показалось гостю, — прежде чем кристалл ожил, начал расти. Облако светлого пара поднялось от стекла, становилось всё гуще — не пар, а дым. Вся комната наполнилась едким дымом. Острый запах заставил учёного отвернуться, это был запах обугленных костей. Когда дым рассеялся, в келье никого не было. Вечный Жид не вернулся, он исчез навсегда, и чародей подумал, что должен был это предвидеть.

Ужин у графини Д.

Идеей поездки в Зибенбюрген я обязан моим друзьям, пожилой чете из Бремена. Зибенбюрген, Семь крепостей. Так называется этот край с тех пор, как король Геца обещал своё покровительство переселенцам с Рейна и Мозеля; было это восемьсот лет назад. Другое название, *Ultrasilvana terra*, или Трансильвания, тоже легко поддаётся переводу. Страна за лесами представляет собой обширное холмистое нагорье; гигантской подковой огибают его зелёные и снежные Карпаты. Здесь кончались владения мадьярской короны, здесь немцы, пожалованные землёй и привилегиями, должны были охранять границу от набёгов языческих орд, от несущихся с гиком и воплем монголов, сумевших прорваться на своих курчавых лошадках сквозь гребень гор.

Революционные нововведения румынского кондукатора не обошли стороной и немцев-хуторян. Помощь голодающим зибенбуржцам организовала евангелическая община, фактическими же исполнителями были Отто и его жена. Дважды в году снаряжался автомобиль-вагон с продуктами и одеждой. Муж сидел за рулём, жена, во всём, что можно было напялить на себя, втискивалась рядом, пристроив ноги в валенках между коробками американских сигарет для умащивания таможенников. Экипаж отправлялся в путь через три государства до заветной границы, а там, смотря по обстоятельствам, через Клуж, Арад или Тимишоара в столицу некогда процветавшего края, — если можно говорить о процветании в этой не слишком обласканной судьбою стране.

Помянув кондукатора (ныне пребывающего в аду), я хотел бы заметить — это имеет отношение к моей специальности, — что никакое серьёзное описание тиранического режима, на мой взгляд, не может обойтись без фольклорного образа тирана. Народное изображение неизменно наделяет деспота чертами какой-нибудь легендарной фигуры. Отто предупреждал меня, чтобы я ни в коем случае не выказывал недоверия к некоторым рассказам, если мне придётся их услышать. Он имел в виду слухи о том, что Чаушеску регулярно обновляет свои силы, телесные и сексуальные, высасыванием крови у новорождённых девочек.

Любимая книжка нашего детства начиналась словами: «Я выехал в Россию верхом на коне». Славный барон клялся, что он самый прав-

дивный человек на земле. Я выехал в Зибенбюрген поездом. Пересадка в Будапеште, долгое стояние на границе. Ещё одна пересадка... В сумерках, измочаленный долгой дорогой, я вышел на вокзальную площадь в Германнштадте и, покружив по улицам довольно большого города (таксист явно вёз меня окольным путём, чтобы побольше намотать на счётчик), оказался перед фасадом гостиницы, воскрешающей баснословные времена австро-венгерской монархии; подросток в каскетке и форменной курточке подхватил мой багаж. Разумеется, это был лишь фасад. В отеле всё было как в современных отелях и ничего не работало. Просторный холл освещался керосиновыми лампами. Дежурный администратор за стойкой не мог понять, что мне нужно, пока я не подкрепил свои объяснения приличной купюрой. Мальчик потащил наверх чемодан; лифт не работал. Дверь в номер не хотела отпираться, бельё издавало подозрительный запах, мраморная ванна не функционировала, а в уборной стояло ведро с водой на случай, если откажет спуск.

Кажется, кроме меня, в гостинице вовсе не было постояльцев. Сидя на другое утро в пустом ресторанном зале за скудным завтраком, я подозвал к себе официантку и сказал, что хотел бы с ней потолковать. Она поняла меня в совершенно конкретном смысле, быстро кивнула и через час постучалась в номер. Чистенькая черноглазая девушка. Я спросил, могу ли я говорить с ней по-немецки и как её зовут. Возможно, представления богатого иностранца, каким я должен был здесь казаться, о местных обычаях были чересчур примитивны. Как опытный боец не мешкая наносит удар, я выложил на стол столько, сколько, по моему мнению, было достаточно.

Эффект был несколько неожиданным, она смотрела на меня с испугом. Так высоко эта девочка себя, очевидно, не ценила. «Сейчас?» — спросила она робко.

«Что сейчас?»

«Мне сейчас раздеваться?»

Я усмехнулся, такой поворот дела не входил в мои планы. «Не обязательно, — сказал я. — Ты должна мне помочь. Вот это, — я показал на телефонный аппарат. — Мне надо, чтоб он работал».

Она передёрнула плечами, как будто хотела сказать: подумаешь, проблема. Дядя придёт и включит. Её дядя тоже работал в гостинице.

А во-вторых, продолжал я, не могла бы она подыскать мне шофёра. Мне предстоит поездка, желательно иметь под рукой надёжного человека. И это тоже оказалось несложным делом, всё тот же дядя Абрахам отвезёт меня хоть на край света. Возможно, туда мне и предстояло отправиться.

Она удалилась, сделав что-то вроде книксена. И всё пошло как по маслу. Вдруг оказалось, что все четыре крана в ванной и умывальнике работают, есть даже горячая вода. Мне сменили бельё. Телефон ожил. Набрав номер, я услышал свист и вой непогоды и представил себе, как ветер в горах колышет верхушки елей. Несколько раз что-то в трубке лопнуло; гудки, щелчок. Сухой недовольный голос спросил, кого надо. Я назвал, напомнил о нашей договорённости. Голос (вероятно, это был дворецкий) смягчился и ответил, что госпожа не может подойти к аппарату, меня ждут завтра.

Делать было нечего, остаток дня я бродил по городу. Я находился в стране с удивительной судьбой. Римские легионы простояли здесь немногим больше ста пятидесяти лет. Этого было достаточно, чтобы народ заговорил на языке завоевателей, забыв родную речь. Романский остров посреди мадяро-славянского и даже отчасти исламского мира. Румынский язык — ветвь латинского древа, мне нетрудно было научиться читать на этом языке. Но в городе, куда меня — выражение это будет вполне уместным — понесла нелёгкая, румынскими были только вывески. Город-палимпсест, сохранивший память веков вопреки нововведениям, всё ещё выставлял напоказ свой обманчивый габсбургский облик. Вы имели возможность полюбоваться барочными зданиями времён императрицы Марии-Терезии, двумя-тремя готическими церквями и башнями крепостной стены.

Вечер я рассчитывал провести за работой, просмотреть выписки из прочитанного, словом, подготовиться к визиту. Но вышло так, что, обогнув площадь, которая всё ещё называлась площадью Революции, — одну из трёх, составляющих городской центр, — и миновав дворец-музей Брукентала, уже закрытый, я свернул за угол. Я люблю в незнакомых городах заглядывать в тёмные переулки.

В погребке стоял дым коромыслом, я хотел было ретироваться. Как вдруг кто-то коснулся моего локтя. «Ты — здесь?» — спросил я удивлённо. Оказалось, что утром она работает в гостинице, а вечером в этом вертепе. Она уверенно повела меня между деревянными столами, за которыми смеялись, бранились, стучали кружками; за дверью оказалось ещё одно помещение, где было спокойней. «Побудь со мной, Ляница», — сказал я, когда она принесла мне пиво и ещё что-то. Она пожала плечами.

Я пил пиво, довольно приличное, поглядывал по сторонам. Вокруг сидели степенные люди. «Завтра отправляемся, — сказал я Ляне, — скажи дяде, чтобы он был готов». — «А далеко вы собрались?» — «В Тотенбург». Она взглянула на меня в замешательстве, повернулась

и что-то сказала одному из сидящих. Он подсел к нам, это был старик с жёлтыми отвислыми усами. «Тотенбург? — сказал он. — Тот самый? Да ведь он давно разрушен».

Я возразил, что сегодня говорил с замком по телефону, и объяснил в двух словах цель моего приезда. Старик воззрился на меня. «Слышь, — отнёсся он к соседу, — профессор интересуется». Тот усмехнулся, взглянул на меня. Я заказал для всех чуйку, местный род сливовицы. «А вы что... — осторожно спросил сосед, — в это верите?» — «Как вам сказать». — «У нас многие верят». — «Видите ли, — проговорил я, — дело в том, что...» — «Не знаю, как вы, а я бы туда лучше не ездил», — промолвил старик с жёлтыми усами. Сосед перебил его: «Да что ты мелешь, нет там никакой крепости. Она давно уже развалилась. А может, взорвали». — «Ну вот, а я что говорю?» — возразил старик. Кто-то вмешался: «Там теперь гостиница для туристов». — «Какая ещё гостиница, туда и дороги-то нет». — «Есть или нет, — сказал старик с усами. — Я бы лучше туда не ездил».

Пиво и шнапс, да ещё спёртый табачный воздух скверно действовали на меня, я плохо понимал моих собеседников, мешавших немецкий язык с румынским. Я искал глазами Ляну. «Проводи меня, я устал, целый день шатался по городу». Она побежала сказать кому-то, что должна отлучиться. Мы воротились в номер.

«Мне тоже с вами?» И так как я не понял, она повторила: «Мне с вами остаться?»

«Как хочешь, — пробормотал я, — впрочем, прекрасная идея».

«Это такое пиво, — сказала она. — Не надо было его пить».

«Зачем же ты его принесла?»

«Я не знала, что оно на вас так действует... — Она помогла мне раздеться. — А кто там живёт?»

«Где?»

«В этом замке».

«Завтра увидим», — проговорил я коснеющим языком. Постель была холодна как лёд. Я мгновенно уснул.

После завтрака я поднялся к себе, почти сразу в номер постучались. Вошёл дядя Абрахам, рослый краснолицый мужик в чёрной бороде. Я спросил, не рано ли отправляться в путь: нас ждут к вечеру. «Так-то оно так», — сказал дядя. «Сколько это будет километров?» Дядя Абрахам пожал плечами. Выяснилось, что он толком не знает, как далеко до крепости Тотенбург, да и не вполне уверен, что она существует. «Как же мы поедем?» — «Так и поедем». Он добавил на своём немецко-румынском наречии: «Domnule profesor¹, я человек не суеверный. Но, может, лучше я вам покажу что-нибудь поинтересней?»

¹ господин профессор (рум.).

Можно поехать в Решинари, сказал он, очень красивое место. Все туристы туда ездят. Я возразил, что приехал не ради достопримечательностей. Мне говорили, что до замка можно доехать за три часа. «Кто это говорил?» Я протянул дяде атлас дорог. «Да на кой мне... — пробормотал он. — Только я вам скажу, за три часа мы никак не доберёмся». Он оказался прав.

Путешествие наше началось прекрасно. Светило тёплое солнышко. Мы катили по шоссе мимо низких выбеленных домиков, крытых дранью, через поля и перелески. Вдали клубились пепельно-лиловые облака, почти не отличимые от гор. Очевидно, это были первые отроги Трансильванских Альп, с юга отгородивших страну Семи крепостей от Малой Валахии. Я держал на коленях раскрытый атлас; мы двигались в другом направлении. Водитель развлекал меня разговорами. Помимо своих обязанностей в отеле, где он скорее числился, чем работал, дядя Абрахам занимался более важными делами: возил из Бухареста дефицитные тряпки и сбывал их в Германнштадте. Здесь, впрочем, всё было дефицитным, магазины существовали скорее для виду. Немцев, по его словам, в Трансильвании и Банате оставалось всё меньше, народ потянулся в Германию, брошенные дома занимали цыгане. Можете себе представить, во что они превратились... А вы, спросил я, не собираетесь уезжать? Зачем, сказал дядя, мне и здесь хорошо. Между тем шоссе осталось в стороне, свернули на узкий просёлок. Постепенно исчезли селения. Там и сям на лугах лежал снег. Машина тарахтела, пошли повороты; оглянувшись, я увидел внизу еловый лес и понял, что мы успели подняться довольно высоко. Никакого замка на моей карте, разумеется, не было, не нашёл я и этой дороги.

Джип остановился среди камней в снегу. Шофёр спрыгнул, нужно было надеть цепи. Мы карабкались, сотрясаясь, вверх по крутизне, пока двигатель не выдохся. Задним ходом на тормозах дядя съехал с горы. Вторая попытка взять подъём была удачней, но за следующим поворотом дорога, извиваясь между валунами, снова полезла вверх. Дядя Абрахам усердно размахивал лопатой, расчищая снег. Привязал машину канатом к стволу огромной ели. «Матерь Божья, вывози», — сказал дядя и дал полный газ. С ужасным рёвом и тарахтением мы добрались до площадки. Там стоял большой деревянный крест. У меня слегка кружилась голова. Наверху над нами плыли бледные облачные небеса, внизу иссиня-чёрный лесной массив спускался уступами в долину.

«Ты уверен, — спросил я, теперь мы уже были на «ты», — ты уверен, что мы едем правильно?» Дядя Абрахам возвёл глаза к небу, пожал плечами. «Долго ли ещё ехать?» — «Да не то чтобы долго». Слева, в неглубокой лощине показались и пропали крыши погребённых под

снегом хижин. Дул ветер. Белые мухи закружились в тёмном воздухе, в мгновение ока аспидные тучи заволокли небо над нашими головами. Снег шёл всё гуще. С зажжёнными фарами, почти не видя дороги сквозь залепленное мокрыми хлопьями стекло, мы тащились вперёд в тряской кабине, что-то трещало под колёсами, въехали в лес, и вдруг метель стихла. В лесу было сумрачно, угрюмо, словно близился вечер. Но мало-помалу стало светлее, разгоралась оловянная заря. Деревья расступились. Перед нами был мост и замок.

Подъехали к воротам с каменным гербом. Стояла мёртвая тишина. Наконец, я услышал скрип шагов по снегу, со слабым скрежетом раскрылись створы ворот. Джип въехал во двор. Дворецкий повёл нас к мрачному зданию с узкими тёмными окнами, повсюду — в оконных нишах и на уступах стен — лежал снег. Взойдя на крыльцо, мы прошли по коридору и вступили в сводчатый зал с огромной плитой, дымоходом, медной и оловянной утварью на полках, с подвешенными к потолку колбасами и окороками. Шофёр отказался переночевать в замке, сказав, что успеет засветло добраться до дому; было видно, что он торопится покинуть замок. Я оставил дядю на кухне за трапезой, пожелав ему счастливого пути.

Дворецкий или кто он там был, сухой и немногословный субъект с лицом скопца, — точно так я представлял себе этих людей, — привел меня в отведённую мне комнату с кроватью музейного вида и узким высоким окном. На столе, на вышитой крестиками крахмальной салфетке было приготовлено угощение: кувшин с горячим молоком и вареники. «Располагайтесь пока что. Через два часа будет подан ужин», — сказал дворецкий. Чувствуя себя совершенно разбитым, я повалился на широкую кровать, и навстречу мне поехала каменистая заснеженная дорога, поплыли серебряные горы и синие леса. В ушах стоял рокот мотора, скрежетали колёса, я всё ещё силился отыскать замок Тотенбург на карте дорог, но это была не та карта; шофёр вглядывался в стекло, крутил баранку, всё было не то, мы ехали не в ту сторону, как вдруг оказалось, что за рулём сидит мой друг Отто из Бремена, обросший до глаз чёрной бородой за время долгого путешествия. В дверь постучали, но мы всё ещё были в пути; устав говорить по-румынски, водитель принялся жестикулировать, машина потеряла управление и стала съезжать вниз, пока не натянулся канат, а между тем нечто дивное и ужасное, нечто фантазмагорическое вознеслось над лесом, башни, стены и контрфорсы. Значит, он всё-таки существует, подумал я или сказал вслух. Кто, граф? — спросил, нахмурясь, мой спутник дядя Абрахам., и снова раздался стук в дверь: нас или, вернее, меня приглашали к ужину.

Человек нёс зажжённый канделябр. Я спросил: «В замке нет электричества?» — «Есть, конечно», — возразил он. Мы шагали по длинному переходу, огоньки свечей колыхались за стёклами окон-бойниц, снег лежал снаружи на покатых карнизах. Одетый по-вечернему, я вступил следом за провожатым в сумрачный и холодный зал. Протопить такие хоромы не так-то просто.

Меня заставили подождать, после чего дверь распахнулась сама собой — мне показалось, что там никого нет. Но вот она вошла: красивая дама на вид лет пятидесяти, невысокая, наклонная к полноте, в чёрном платье, в наброшенной на плечи белой пуховой шали, с огоньками брильянтов в маленьких ушах, со странно-неживым блеском чёрных глаз. Я встал.

«Doamnă contesă...»

«Profesor»¹.

Мы сидели за столом с белоснежной скатертью друг против друга между двумя подсвечниками, в честь гостя был выставлен хрусталь, дворецкий разлил вино. Она произнесла несколько любезных слов, осведомилась, как я доехал.

«В городе лето. А у вас здесь...»

«У нас тоже было тепло, потом вдруг завьюжило. Здесь довольно высоко...»

«О, я это заметил».

Мы обменялись мнениями о климате этих мест. Я похвалил кушанья и выразил своё восхищение замком. Она сказала:

«Вас удивляет, как всё это могло сохраниться. У меня были хорошие взаимоотношения с режимом. Кондукатор распорядился, чтобы меня не трогали...»

Я посетовал на незнание румынского и спросил, на каком языке ей удобнее говорить со мной: немецком или французском.

«Мне всё равно», — сказала она.

«Ваше здоровье». Беседа продолжалась по-немецки.

«Взаимно... Итак, если я не ошиблась, вас интересует...»

«Совершенно верно».

«Я была уверена, что этой темой никто всерьёз не занимается».

«Тем не менее».

«Считается, что легенда возникла недавно, её будто бы сочинил один англичанин... или ирландец, вы, конечно, лучше знаете».

¹ Госпожа графиня, профессор (рум.).

«Да, это известный роман. На самом деле автор воспользовался сведениями куда более древнего происхождения».

«Я это и хотела сказать».

«Меня интересуют фольклорные источники этой легенды, — сказал я. — Стокер не изобрёл своего героя. Он просто его заимствовал, со всеми подробностями, из старинных книг о воеводе Дракуле, некоторые из них ходили в Германии и России чуть ли не в пятнадцатом веке. Но и они в свою очередь основаны на ещё более старых преданиях. Заметьте, — сказал я, — что существуют манускрипты, написанные задолго до того, как жил прототип... мнимый прототип, потому что на самом деле всё это было ему только приписано».

«Мнимый, — сказала она задумчиво, — вы так считаете? Но тогда разрешите мне задать вопрос. Зачем вы сюда приехали?»

Я поспешил заверить хозяйку, что чрезвычайно благодарен ей за разрешение посетить Тотенбург. «Мне кажется, я уже объяснил...»

«Да, но вы утверждаете, что мой предок был всего лишь случайным избранником этой легенды, — если я вас правильно понял».

«Правильно. Легенда существовала до него. Но то, что именно он оказался, как вы удачно выразились, избранником, произошло отнюдь не случайно. Видите ли, один из самых интересных моментов в жизни легендарных сюжетов — это их встреча с действительностью».

Она подняла брови. «Не будете ли вы так любезны пояснить, что вы под этим подразумеваете?»

«Охотно. Я не разделяю мнение — хотя во многих случаях оно вроде бы подтверждается фактическими данными, — будто происхождение мифов связано с какими-то реальными историческими событиями. Скорее наоборот: не история порождает миф, а миф эксплуатирует историю. Действительность поставляет актёров для уже готовой пьесы, потом их сменяют другие, и так чуть ли не до нашего времени».

«Боюсь, что для меня это слишком сложно».

«Кстати, — я смотрел на руку дворецкого в белой перчатке, подливавшую мне вино, — вы говорили о том, что Чаушеску... Не было ли такое отношение, я хочу сказать, такое терпимое отношение к вам как к наследнице замка, не было ли оно связано, м-м... с некоторыми наклонностями... я слышал, что ему приписывалось употребление крови младенцев».

«Вы в это верите?»

«Дело не в том, верю я или не верю. Важно то, что легенда жива. И нашла для себя очередного актёра. Больше того: может быть, он сознательно действовал в этом направлении, так сказать, стилизовался под...»

Она перебила меня:

«Мне об этом ничего не известно».

Помолчав, она добавила: «Некоторые считают, что замка вообще не существует...»

Я засмеялся.

Да, но известно ли мне, продолжала хозяйка, что в Шесбурге есть дом Дракулешти? Его владельцы утверждают, что именно они — истинные потомки Влада Цепеша.

Я ответил, что не собираюсь туда ехать. Хотя, может быть, стоило бы посетить Снагов — говорят, на острове находится его могила.

Если только, возразила она, монастырь не разрушен. Впрочем, что касается могилы, то это такой же блеф, как и притязания этой семьи.

«Блеф?»

«Граф лежит в Тотенбурге».

«Как, — воскликнул я, — его могила здесь?»

«Да... почему вас это удивляет? К сожалению, она не сохранилась. Ни плиты, ни памятника»

«И вы не знаете, где именно...?»

«Всё было уничтожено».

«Понимаю... Не утомил ли я вас, графиня?»

«Нет. К несчастью, я страдаю бессонницей. Но вы, наверное, в самом деле устали».

На часах было уже близко к полуночи; мне пожелали спокойной ночи.

На другой день я завтракал, затем обедал в одиночестве. Климат гор давал себя знать, я испытывал неодолимую сонливость. Снаружи бушевала метель.

День успел потускнеть, когда я открыл глаза, но до ужина ещё оставалось несколько времени; воспользовавшись разрешением побродить по замку, я шёл вдоль длинных переходов, нажимал наугад ручки дверей. Комнаты, или что там находилось, были по большей части закрыты; если удавалось войти, всё выглядело так, словно там не жили несколько столетий. Время умерло в этих покоях. Проходя мимо окон, я смутно различал одни и те же заснеженные карнизы, углы стен, покатые крыши, очутился в коридоре, где уже был, несколько раз спускался и поднимался по одним и тем же лестницам и, добравшись, наконец, до своей комнаты, едва успел переодеться. Хозяйка ждала за столом. Горели свечи.

«Если так будет продолжаться, — промолвила она, глядя на окна, — вы не сможете уехать».

Означало ли это, что она торопилась выпроводить меня? Всё тот же сумрачно-неживой взгляд, как у слепых или выходцев с того света, — или тусклое пламя веков обвело её тёмным нимбом? Её наряд очень шёл к ней. При дневном свете она была бы, наверное, не так хороша.

Потолковали о погоде. Она проговорила:

«Знаете, я рада вашему визиту. Как вы заметили, я живу одиноко...»

Я сказал, что успел бегло ознакомиться с библиотекой: там есть любопытные вещи. Старинные трактаты, раритеты. «Оккультная философия» Агриппы — чуть ли не прижизненное издание. Вообще много интересного. Кто всё это собирал?

Она улыбнулась.

«Я в эти сочинения не заглядываю. Но среди моих предков были весьма учёные люди... не только вояки вроде этого Влада».

Я осторожно заметил, что, по некоторым сведениям, он отличался какой-то особенной жестокостью.

«Что вы хотите: средневековье, пятнадцатый век. Они все были жестокими. Вам, вероятно, известно, как переводится слово Цепеш».

«Что-то вроде сажателя на кол».

«Вот именно. Однако национальные историки ставят его очень высоко. Он сражался с турецким султаном».

Значит, спросил я, она действительно ведёт от него свой род?

«По прямой линии. Я его пра-, пра— и так далее внучка. А вы сомневались?»

«О, нет. Просто мне хотелось услышать от вас подтверждение».

«Вас смутили эти Дракулешти».

Я заверил графиню, что у меня и прежде не было ни малейших сомнений в том, что это самозванцы.

«Мы приходим из дома Басарабов, — сказала она. — Влад Третий, который вас так занимает, был внуком Старого Мирчи, того самого, при котором валашское государство достигло наивысшего могущества».

«Разрешите мне вернуться к легенде. У меня есть несколько вопросов...»

«Я к вашим услугам», — сказала она холодно и хлопнула в ладоши. Явился дворецкий с новой бутылкой тёмного, как кровь, вина. Неслышно и мгновенно были сменены блюда. Несколько времени мы провели в молчании за едой.

Она промолвила:

«Я знаю, о чём вы хотите меня спросить. Догадаться нетрудно, не правда ли? Сделаем небольшой перерыв. Вы уже немного ориентируетесь в этом доме. Видели ли вы галерею?»

Добравшись до своей комнаты, — вечер опять затянулся до поздней ночи, — возбуждённый вином, беседой, услышанным и увиденным, да ещё, пожалуй (отчего не признаться?), поздней красотой хозяйки, я не мог уснуть, начал было приводить в порядок свои записи, прислушался. Буря выла за окнами.

Я лежал на кровати, на дне моих глаз колыхались лепестки огня. Тёмноасянистые лица в облупившихся позолоченных рамках проступили из полутьмы, я спросил, почему не включают электричество. Она объяснила: запретили доктора. Наследственное заболевание сетчатки глаз. Шествие возглавлял дворецкий с канделябром, следом мелкими шагами ступала маленькая полная женщина в чёрном, с брильянтами в ушах, остановилась, а вот и он, сказала она.

Неужели, пробормотал я, — этого не может быть. Она кисло улыбнулась: но почему же? Потому что известно, возразил я, как-то плохо соображая, где я нахожусь, на постели в моей комнате или всё ещё там, в галерее рядом с ней и слугой, высоко поднявшим светильник, — да, известно, что портретов графа не сохранилось. Я сам безуспешно разыскивал их в каталогах музеев и библиотек. Судя по всему, все портреты были уничтожены. Народное суеверие приписывало магическую власть его изображению. Вы сами сказали, добавил я, даже надгробье стёрто с лица земли. Одним словом, если бы это был подлинный портрет, о нём по крайней мере знали бы специалисты.

Но сюда никто не приезжает, возразила она, я же вам говорила, что все уверены, будто замка давно не существует.

Влад Цепеш, ещё при жизни прозванный Dracula, Божьей милостью правитель Трансильвании, господарь Валахии и Молдавии, в шапке собольего меха с султаном, в отороченном мехом плаще, усатый, бородатый, с колючим взглядом, почти уродливый, неотразимо-красивый, грозно взирал на нас из овала, вокруг которого шло перечисление его титулов. А дальше по коридору, вслед за Цепешом, — как же могло быть иначе, — парад юных женщин. Ни одна из них не дожила до старости.

Усмехнувшись, я спросил, означает ли это, что девушки погибли от укусов вампира. Этот слух, возразила графиня, ещё никем не был опровергнут. Мы медленно двигались от картины к картине, медленно проплывали бледные лица в моём утомлённом мозгу. Можно догадываться, заметил я, какими изощрёнными способами он заманивал к се-

бе своих жертв: хитрость, ворожба — на что он только не пускался. Но почему все они оказались здесь, в галерее предков? Насколько я понимаю, только одна из них стала продолжательницей рода, и, кстати, которая? О, её нетрудно угадать, сказала хозяйка и подвела меня к своему портрету, — в самом деле, это была она, нежная и печальная, говорят, эта дама умерла восемнадцати лет в родах. В каком же это было году, дай Бог памяти, тысяча четыреста... Влад в это время гонялся за зелёным знаменем врага на окраинах нашего царства.

«Но вы правы, говоря, что другим жёнам здесь не место; вы правы и не правы. Ведь во мне, — сказала она, — течёт кровь всех этих женщин. Он передал её мне. Или вы в этом сомневались?»

Я спал, когда в комнату постучались. Затаившись, дрожа от волнения и страха, я ждал повторения. Мне показалось, что шаги удаляются, и утром я был твёрдо уверен, что всё это мне приснилось. Под вечер метель утихла. Можно было надеяться, что завтра выглянет солнце. За ужином, который мы провели, как всегда, при свечах, tête-à-tête, разговор шёл о предметах, более или менее продолжавших вчерашнюю тему. Я противник того, чтобы превращать легенду в притчу, сказал я, смысл подобных сюжетов как раз и состоит в том, что их нельзя редуцировать к определённому «смыслу». Тем не менее что-то вроде морали можно извлечь из рассказов о пращуре-кровопийце. Например, что сластолюбие — это оборотная сторона жестокости. Хозяйка, задумавшись, вертела между пальцами бокал.

«Вы говорите: заманивал жертв. А если я вам скажу, что ни одна из них не была жертвой».

«Что это значит?»

«А то, что ни одна из этих девиц — их могло быть гораздо больше — не была доставлена в Тотенбург хитростью или насильно. Наоборот, они сами добивались этой чести».

«Зная о том, что владелец замка — вампир?»

«Конечно. В конце концов, это не было тайной».

«Но откуда известно, что они...?»

«Меня удивляет ваш вопрос. Они хотели ему отдаться, потому что этого хочет предание. — Она подняла на меня ночной взгляд. — Забудьте свою науку, профессор. Мы находимся в пространстве легенд».

«Слушаю и повинуюсь, — сказал я. — Но та же легенда рисует графа Дракулу насильником».

«Э, знаем мы эту игру. Какая девушка согласится признать, что её взяли с её согласия. Я говорю, конечно, не о нынешних... Ещё глоток?»

«С удовольствием».

«Я думаю, каждой хотелось стать, если можно так выразиться, мой прародительницей. Граф Влад был не только победителем султана. Он слыл покорителем сердец. Одной этой славы было достаточно, чтобы вскружить голову любой крестьянке. Если условием любви была необходимость отдать ему толику своей крови, что ж. Они были согласны. Они на всё были согласны! Вам как мужчине это трудно понять. Скажу больше... Вы позволите мне называть вещи своими именами?»

«Я вас внимательно слушаю».

«Именно потому, что он был вампир, они были согласны. Кто знает? — проговорила она, изрядно отхлебнув из бокала. — Может быть, в тот момент, когда его приоткрытые губы касались так называемой жертвы, когда зубы вампира впивались в эту жилку, пульсирующую на шее... эти девушки испытывали такое мучительное наслаждение, рядом с которым обыкновенная дефлорация ничего не стоит».

Я заметил, что мы вторглись в весьма специальную область сексуальной психопатологии. Хозяйка презрительно усмехнулась. Но с другой стороны, продолжал я, давно замечено, что в рассказах о Дракуле возродились некоторые древние представления... некоторые идеи древнегреческой науки. Может быть, в такой форме в Румынии живёт наследие античного мира.

«Профессор!» — сказала она с упреком.

«Простите. Я не собираюсь читать вам лекцию... Я просто хотел напомнить об античной теории смещения соков. Мы остаёмся, как ваше сиятельство удачно выразились, в пространстве легенд... Так вот, по этой теории, мужское семя есть не что иное, как пена крови, закипающей в миг вожделения. Отсюда следует, не правда ли, что сластолюбец должен был пополнять убывающие запасы крови. Как это сделать? Очевидно, только одним способом. Высасывая кровь у своих возлюбленных...»

Она перебила меня.

«Извините. У меня ужасно разболелась голова. Это к перемене погоды».

Появился дворецкий. Я откланялся.

Я сидел над бумагами в моей комнате. Мне хотелось подвести предварительные итоги; беседы с хозяйкой замка навели меня на некоторые новые соображения. У меня давно уже был готов план обстоятельной монографии, которая должна была, по моим расчётам, весьма способствовать моей учёной карьере: срок моего пребывания на кафедре истекал в следующем году, я намеревался подать на конкурс в более престижный университет.

Увязать проблематику возникновения и бытования фольклорных сюжетов с законами подсознания — так я формулировал мою задачу. В особенности меня интересовал вопрос о «вживании в миф». Подобно тому как врач-психиатр должен проникнуть во внутренний мир своих пациентов, не боясь, так сказать, заразиться, так исследователь мифов должен впустить миф в своё собственное сознание, научиться мыслить мифологически. Больше того — научиться жить в мифологической действительности. Чтобы постигнуть жизнь мифа, нужно стать самому его действующим лицом. Сейчас, вспоминая свою поездку в Зибенбюрген, я склоняюсь к мысли, что мне это удалось.

Я услышал шаги. Может быть, оттого, что в глубине души я их ждал, был к ним готов, — мой слух обострился до предела. Как и минувшей ночью, кто-то прошествовал мимо моей двери. Но голова моя была занята другим; всё ещё думая о своём проекте, я выглянул в коридор. Никого не было. Холодный свет сочился из окон-амбразур, вероятно, взошла луна. Лучшей обстановки для размышлений над загадками мифологического воображения нельзя было изобрести. Впрочем, легко можно было не заметить в полутьме дворецкого, который совершал обход здания, прежде чем отойти ко сну.

Дворецкий... так я привык его мысленно называть. Хотя до сих пор не знаю, какую должность этот персонаж занимал при своей госпоже, была ли в замке другая прислуга. Во всяком случае, кроме него, я никого не видел. Но, кажется, это был не он, да и зачем бы ему понадобилось красться в темноте.

В том-то и дело, что это был не дворецкий! Я хотел вернуться и лечь, она схватилась за ручку двери. «Вы?!» — сказал я, скорей удивившись, чем испугавшись.

«Deranjerez? — входя, по-румынски сказала хозяйка. — Я не помешала? Ведь ты ждал меня, скажи правду». Я ответил, сделав вид, что не заметил этого «ты», что вчера тоже слышал чьи-то шаги и думал, что они мне приснились.

«Ты прав, можешь считать, что это был сон. Можешь даже считать, что и сейчас ты видишь сон. Только на этот раз наяву!»

В самом деле, оказалось, что я лежу под одеялом; она стояла передо мной в своём чёрном одеянии, чем и объяснялось то, что я не разглядел её в темноте.

«Вы... — проговорил я, — ты... Что тебе надо?»

«Не прикидывайся наивным ребёнком — ты меня ждал».

«Допустим; ну и что?»

«О, это уже много. Можно, я присяду?»

Я слегка отодвинулся; она сидела на краю моего ложа.

«И я тоже, — сказала она, — я тоже тебя ждала. Но ты не пришёл». И умолкла, глядя на пламя свечи. Взгляд, о котором я уже говорил, взгляд без отблеска, точно свет потонул в огромных зрачках.

«Простите, графиня, — сказал я, снова переходя на вы, — я хочу спать».

Она как будто не слышала.

«Я тебя ждала, ты не можешь себе представить, что это значит, когда живёшь так одиноко... Они все думают, там, внизу, что здесь никого нет, замок взорван или что-нибудь такое, никто не решается меня посетить, никого не заманишь... да и зачем они мне? Мне нужен ты. Я это поняла в первый же вечер, в первую минуту... когда увидела тебя за столом... Ты красив. Я...» — и она повернула ко мне глаза, теперь в них снова отражался свет. Огоньки мерцали в её ушах.

Надо было ей что-то сказать, поблагодарить за честь, — я не нашёл, чем ответить на это неожиданное признание.

«Да, я понимаю, ты думаешь, что я для тебя стара. Не надо меня разубеждать, — сказала она в ответ на мой протестующий жест, — я знаю, что ты рыцарь, но когда любишь, становишься юной... не смейся надо мной!»

Я молчал. Она продолжала:

«Даме не полагается так себя вести, но что же мне делать. Ты уедешь, и я снова останусь одна. Но ты можешь здесь заниматься своей работой. Библиотека в твоём распоряжении. Весь день принадлежит тебе... У тебя не будет никаких забот... Я даже не спросила тебя, женат ли ты».

«Тем лучше! — воскликнула она, когда я покачал головой. — Что нам мешает быть вместе? Мы оба свободны. Останься. Останься! И знаешь, что я тебе скажу... — она перешла на шёпот, — такой любви ты ещё не знал. Никакая женщина тебе не даст того, что я могу дать. Такой любви не бывает на свете! Хочешь меня?»

Тут я почувствовал настоящий страх. Она тянулась ко мне, тянулась губами, и уже почти прикоснулась... но не к губам, а к шее.

«Дай мне, — бормотала она, — дай мне капельку крови».

Я вскочил.

«Проклятая ведьма, — сказал я, скрипнув зубами. — Хищница! Значит, это правда?..»

Я схватил что-то тяжёлое со стола, один из двух подсвечников. Она попятилась. Мы стояли друг против друга.

«Что вы, — проговорила графиня и провела рукой по лбу. — Вы меня не поняли. Пожалуйста, поставьте на место. Как вы меня напугали! Я пошутила. Мы зашли слишком далеко».

«Не я, а вы!»

«Пусть будет так. Думайте обо мне всё что хотите. Одно могу сказать. Вы заставили меня пойти на крайнее унижение. Я подумала: мельтеша успокоилась. Завтра он уедет... Я прошу вас подумать над моим предложением».

«Над каким это предложением?» — сказал я надменно.

«Я не хочу повторять всего, что здесь было сказано. Я люблю вас. В моём роду я последняя. У меня нет наследников... Вы станете владельцем всего, когда я умру. Подумайте об этом. Завтра мне скажете».

Я усмехнулся: «Можете на меня не рассчитывать. Я вас понял».

«Что, что вы поняли?» — сказала она с тревогой.

«Я прекрасно понял, какую цену вы от меня потребуете».

«Цену... Ах вот оно что, — проговорила хозяйка, слегка отступив к двери и не спуская с меня помертвевших глаз. — Ты говоришь, цену. Ну что ж! В таком случае...» Она хлопнула в ладоши.

Дворецкий возник на пороге. Дворецкий был тут как тут — кисло-надменный, скопчески-сухой субъект с провалившимися висками, с глубокими тенями на щеках. Госпожа сделала еле заметный знак, и в одно мгновение руки с железными мышцами схватили меня, вырвали погасший светильник, повалили меня на кровать. «Вот так будет лучше», — пробормотала графиня.

«Сейчас ты успокоишься, — сказала она, склонившись надо мной, и её грудь в чёрном платье коснулась моей груди. Дворецкий держал меня, стоя у изголовья. — Ты успокоишься, — шептала она, — ничто тебя больше не будет волновать, никого не будешь бояться... Но прежде — дурачок! — ты вкусишь такого счастья, какое тебе не снилось, какого ты отродясь не испытывал. Ты будешь благодарить меня...»

Утром я долго сидел в большом зале, надеясь (в глубине души), что графиня изменит своим привычкам и явится к завтраку. Вошёл узколицый дворецкий, справиться, какие будут распоряжения. Пятна света лежали на каменном полу, за окнами снег сверкал так, что больно было смотреть. Как обычно, после обеда я спал, коротал время в библиотеке; наступил четвёртый вечер моей жизни в замке; как всегда, мы встретились за ужином.

На этот раз у хозяйки был неважный вид. Замучила бессонница.

Я спросил, что она делает ночами, когда нет сна.

«Читаю, — сказала она. — Старые французские романы».

Не вредит ли это зрению? Она пожала плечами. Молча, не поворачивая головы, подняла свой бокал, дворецкий поспешил подлить ей и мне. Вялый разговор продолжался несколько времени.

«Бывает так, что трудно понять. Вам такое состояние вряд ли знакомо».

«Какое?» — спросил я.

«Состояние между сном и... ещё чем-то. Вроде бы спишь, а на самом деле не спишь. Или наоборот. Представьте себе...»

Снова пауза. Я ждал продолжения. Хозяйка сделала знак рукой, мы остались наедине.

«Представьте себе, перед самым рассветом я как-то незаметно заблудилась. Буквально на несколько минут. Вот вы человек учёный, — улыбнулась она. — Объясните мне мой сон».

Я возразил, что толкование сновидений — не моя область. Вдобавок я не считаю себя последователем доктора Фрейда и его школы. Сны, на мой взгляд, ничего не разоблачают. Их функция, как и функция символического мышления вообще, — продемонстрировать некие исконные формы бытия. Недоступные интеллекту. Психоанализ, сказал я, с его манией всё сводить к голой сексуальности — слишком грубый инструмент. Слишком уж он отдаёт позитивизмом прошлого века. Ведь голой сексуальности на самом деле никогда не бывает, сексуальное всегда многозначно, если угодно — многофункционально.

Она слушала терпеливо, рассеянно кивая. Потом сказала:

«А по-моему, всё зависит от того, какой сон. Сны ведь тоже бывают разные».

«Так что же вам приснилось?»

«Что приснилось... Вы хотите знать, что мне приснилось. Даже неловко рассказывать. Как будто я вот так сижу, лечь не могу, читать тоже нет сил. Свечи оплыли, всё в каком-то красном свете. А главное, не могу понять, где я нахожусь. Вроде бы я в своём доме, а в то же время он мне кажется незнакомым; иду и думаю, что вот я сейчас заблужусь и не найду дорогу назад. И в это время вижу вас... да, не удивляйтесь. Я вижу, как вы показались из своей комнаты».

Она отпила глоток. Последовал обычный вопрос: «Как вам вино?»

«Превосходное».

«Мне привезли на пробу».

«И это всё?» — спросил я.

«Да... или, пожалуй, нет. Я увидела вас — и такое чувство, что вы меня ждёте. И тут же я вспоминаю, что вы должны уехать, за вами уже приехала машина, а я не успела сказать вам — что именно, не знаю, что-то очень важное. Но на дворе ночь, и у меня ещё есть время. Вхожу, и... оказывается, вы уже лежите в постели. Вы что-то говорите, я совершенно не понимаю слов, это иностранный

язык, но я догадываюсь, вы хотите сказать, что вы устали, хотите спать, требуете, чтобы я оставила вас в покое... Как вам нравится мой сон?»

Я покачал головой.

«Он мне совсем не нравится».

«Мне тоже... Я нахожу, что... — это, конечно, во сне, — нахожу, что вы плохо воспитаны, так не говорят с дамой, тем более с титулованной, и хочу сделать вам замечание, но времени остаётся мало, а я всё ещё не сказала самого главного, того, что должна сказать... и тут у меня вырываются совершенно невозможные слова, я не могу их остановить и чувствую, что какая-то сила тянет меня к вам, я уже не могу с собой совладать. Короче говоря... — она вздохнула, — это ужасно, и мне стыдно рассказывать, можете толковать как хотите... Короче, мне захотелось крови, как вам это нравится? Я даже как будто почувствовала липкий солёный вкус на губах. Это что — наследственное, что ли?».

«А что же я?»

«Вы?.. Вы схватили со стола канделябр и хотели меня убить!»

Помолчали.

«Я думаю, — сказала хозяйка, — это результат наших разговоров».

«Я тоже так думаю».

«Мы разбудили старого злодея».

«Вот именно».

«Смешно даже подумать, какие фантазии могут придти в голову одинокой стареющей женщине».

«Вы имеете в виду...?»

«Да. Я имею в виду, что сон на этом не закончился... В страшном испуге я очнулась. Было всё так же тихо, свечи горели, всё оставалось по-старому. Сон длился, может быть, несколько секунд. Я очнулась и чувствую этот вкус, вытираю губы и вижу, что на платке... это даже удивительно. Видимо, я поранила себе губы во сне. Словом, это длилось только один миг, потому что сразу после этого я оказалась снова в вашей комнате. Значит, подумалось мне, это была неправда, а правда то, что я здесь, в этой комнате. И опять такое чувство, что время уходит, а я так и не сказала... Вы стоите передо мной, вы тоже, видимо, испугались, и тогда я вам говорю, что это недоразумение, мы друг друга не поняли, но вы только качаете головой: то ли вы мне не верите, то ли не понимаете язык, на котором я говорю. Совершенно так же, как я не могла понять ваш язык. Я всё стараюсь вам втолковать, что я пришла для того, чтобы сообщить нечто чрезвычайно важное, это касается нас обоих, от этого зависит моя судьба и ваша судьба, — а вы не понимаете. Я не знаю, что делать, поворачиваюсь — сзади стоит Альфред».

Так я узнал, что дворецкого зовут Альфред. Оказывается, он был очень стар — а ведь по виду не скажешь. Она не знала в точности, сколько ему лет. Он был человеком без возраста. Служил в замке, когда графиня была маленькой девочкой и приезжала с родителями на лето в Тотенбург.

«Это было ещё в королевской Румынии», — сказала она.

«Вернёмся к вашему сну. Вы не договорили».

«Что не договорила? Ах, сон... Я уже ничего не помню...»

«Вы собирались мне что-то сказать».

«Да, — сказала она растерянно. — Собиралась... Поворачиваюсь и делаю знак Альфреду. Показываю ему, чтобы он мне помог. Но он — представьте себе — он только качает головой!»

Я поднял бокал.

«Итак, вы уезжаете...»

«Пора. Должно быть, я вам уже надоел. — Я сказал это в надежде, что она будет возражать. Она молчала. — Знаете, — проговорил я, — мне кажется, я всё-таки понял, что вы мне говорили».

«Говорила, когда?»

«Во сне. Мы видели один и тот же сон».

«Вы что, с ума сошли?»

«Может быть, — сказал я. — Но если двое видят одинаковый сон, значит, это не сон. Так что же вы всё-таки хотели мне сообщить?»

«Не знаю. Не помню! Ах, оставьте меня в покое...»

На другой день была такая же ясная погода. Хозяйка не показывалась. Я уже знал, что врачи рекомендовали графине избегать яркого света. Тем лучше — или, пожалуй, хуже: ведь я всё ещё надеялся её увидеть. Кое-что оставалось неясным; кое-какие вопросы, которые следовало уточнить для моей монографии. Я пообедал в одиночестве. Альфред доложил, что машина ждёт во дворе. Делать было нечего, я уселся рядом с бородатым дядей Абрахамом и отправился в Германштадт, где меня ожидали тёплые объятия Ляны.

Похож на человека

«Вот теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзил. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягу-

шачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась перекличка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости от-

ветить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшись, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он

вошёл в класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё место. Похоже было, что девочки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не признается, то значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрвав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время это был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была ретаврирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-

нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись на крутым ступеньками наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойду?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было

быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышь, чтобы убить нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой не-

чего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривоуго переулка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека слышалась сирена. Нос взгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

16 января 192*

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.

T. S. Eliot, Four Quartets Nr 1.

Время настоящее и время прошедшее.
Возможно, оба содержатся
В будущем.
А будущее — во времени прошедшем.
Во всяком случае, если время вечно,
С этим уже ничего не поделаешь.

Т.С. Элиот, Четыре квартета, 1

Огневой крюшон с поклоном
Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном
Капуцин шуршит и пьет.
Только там по гулким залам
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

Андрей Белый, Маскарад

Принимаясь за этот рассказ, я думаю о том, что окажусь в двусмысленной роли историка, который описывает прошлое, зная о будущем, то есть о том, чем закончится это прошлое, — зная, к чему оно приведёт. Ему дано будет обозреть пучок расходящихся дорог, ведущих в будущее. Призрак будущего, этой таинственной скрытой от нас реальности, — ожидающего, подстерегающего коварного будущего, — сумею ли я его расколдовать?

Здесь стоит дата. Ориентировочная, без необходимости уточнять год. Этот день, потонувший в пучине прошлого, вряд ли что-

нибудь скажет читателю Я, однако, вынужден его выделить: дело в том, что шестнадцатое января — мой день рождения. Господи, сколько же мне тогда исполнилось? Лучше не вспоминать. Впрочем, я всё отлично помню.

...Видите ли, одно дело помнить, другое — вспомнить. Память мившего, говорит поэт, беременна будущим. Мы о нём ещё ничего не знаем, до поры до времени оно остаётся нерождённым, прежде чем, родившись, умереть в настоящем. Но довольно говорить загадками, вернёмся к этому, увы, тоже эфемерному настоящему. Первый послевоенный день рождения, мне 17 лет. Многому суждено будет перемениться, когда время, повивальная бабка памяти, пособит разрешиться этому дню от бремени набухшего, зреющего будущего.

Да, изменится чуть ли не всё. Исчезнет переулочек, где находился наш дом. Не станет двора, где прошло моё скудное, счастливое детство. Жильцы? Никого, ни единой души. Наконец, гости именинного застолья, — где их настигло, куда увлекло за собой хищное будущее?.. Всё сейчас прояснится.

Была такая тётя Лиза, Елизавета Мироновна, двоюродная сестра моего отца, пианистка и преподавательница музыки, живая, черноглазая: вижу её, как теперь, сидящей за нашим инструментом старинной немецкой фирмы, с двумя медными канделябрами, двуглавыми орлами поставщиков императорского двора, на пюпитре развёрнутые ноты. Смеясь, играя бровями, тётя Лиза оборачивается к гостям, нажимает на педаль носком узкой лакированной туфли с перемычкой на пуговке. Вальс из «Фауста». Рядом с тётей Лизой, положив обнажённую руку на пианино, стоит наша дальняя родственница, невысокая рыженькая и веснучатая Рива Меклер в модном крепдешинном платье в цветах, с глубоким вырезом, открывающим ущелье полных грудей, с квадратными накладными плечами, в огромных, как корабли, белых туфлях на высоких каблуках. Рива Меклер поёт тонким голоском «В небеса самолёт поднимая, с облаками беседую я», поёт «Спи, любимый сын, тикают часы, мячик закатился под кровать...» — шлягеры той поры. Ей 27 лет, мужчин осталось мало, но она всё ещё не теряет надежду выйти замуж. Рива приехала из Молдавии, живёт у нас без прописки, на птичьих правах. Во время оккупации её родители, братья, сёстры и обе бабушки погибли, всего шесть человек осталось в живых из одиннадцати тысяч обитателей кишинёвского гетто. Журчит пианино, руки тёти Лизы бегают клавиатуру, берут бравурные аккорды, гости поднимают бокалы. И вот тут это случилось. В коридоре раздался, лучше сказать — грянул — звонок.

Три звонка. Значит, к нам. Музыка смолкла, тётя Лиза перестала улыбаться и перевернула ноты.

Рива Меклер побледнела, хотя вряд ли можно было угадать это под слоем пудры. Как уже сказано, у Ривы нет прописки.

«Милиция, — прошептала она в ужасе. — Это за мной». И снова три нетерпеливых звонка.

Никто почему-то не решается встать и выйти в коридор. Молча сидят и ждут. Один только виновник торжества поднялся из-за стола.

И дверь нашей комнаты растворилась. Там стояла высокая фигура в чёрном одеянии, в карнавальной маске. Обомлев, мы уставились на неё. Кто-то душливо хихикнул: вот это да!

Тонкая женская рука поднялась из-под плаща с красной подкладкой и поманила меня.

«Стой, не ходи!» — кто-то снова прервал молчание.

Потом ещё кто-то, рассудительно:

«Может, вызвать милицию?»

Ему возразили:

«Зачем? Пусть садится с нами. Милости просим!»

Всё зашевелилось, засуетилось, пододвинули стул. Гостья топнула ногой. Что мне оставалось делать? Под гипнозом её взгляда в узких прорезах маски я поплёлся к ней сам не свой.

Не знаю, сколько времени мы провели наедине в тишине и полутьме коммунального коридора, под болезненной лампочкой в потолке. Она — кто такая? — была выше меня ростом. Я попробовал приоткрыть дверь — там продолжался праздник. Слышались приглушённые голоса, донеслось пианино... Маска покачала головой.

«Оставь», — сухо приказала она.

«Но они там ждут», — сказал я.

Оставь! Их больше нет».

«Как это — нет? А музыка?»

«Никого нет».

«Откуда ты знаешь?»

«Забудь их. Закрой дверь».

«А я?»

Я сам не понимал, о чём я, собственно, спрашиваю.

Она усмехнулась.

«Когда-нибудь, и тебя не будет».

«Когда?» — спросил я.

Я всё ещё ничего не понимал. Маска вела меня за руку, холодные пальцы сжали мою кисть. За спиной у нас щёлкнула английским замком дверь коридора, вышли на лестничную площадку и стали подниматься. По этим перилам, сто лет назад, я съезжал в детстве. Этаж, ещё этаж; я покорно следовал за незнакомкой. Меня не оставляла мысль о гостях. Я не решался переспросить.

Время шло или застыло на месте, нас провожала непробудная тишина. Дом спал или вымер. Вот и площадка последнего, верхнего этажа; в неверном свете дня, просочившемся из слухового окна, остановились передохнуть. С двух сторон двери, на каждой табличка с фамилиями съёмщиков, дореволюционный звонок-вертушка с надписью «Прошу повернуть». Вожатая — по-прежнему траурная маскарадная маска скрывала её лицо — протянула узкую руку к рычажку, и за дверью послышалось дребезжанье звонка. Квартира была нема. Маска вынула из плаща кинжал.

Наконец звякнула дверная цепочка, нам отворил маскированный ливрейный лакей, молча, отступив назад, отвесил глубокий поклон. Спутница спрятала своё оружие. Мы вступили в прихожую. На рогах вешалки висела оперённая шляпа, болталась на шнурке атласная маска. Мне водрузили на голову шляпу, нацепили на лоб и нос маску.

Наш дом в Большом Козловском переулке, был, если не ошибаюсь, построен в эпоху экономического подъёма незадолго до первой мировой войны. Дом был доходным, квартиры сдавались, выражаясь по-гоголевски, господам средней руки. Лакей, впустивший нас, удалился. Миновав длинный, тускло освещённый коридор, остановились перед двойной дверью... Новая неожиданность ожидала меня. Спутница щёлкнула худыми пальцами; створы тотчас раздвинулись.

Там находился большой зал, огоньки свечей на столиках скрадывали пространство, лица посетителей в маскарадных костюмах были почти неразличимы. Мне почудилось, что я вижу своих гостей. У зашторенного окна в углу за роялем сидела переодетая тётя Лиза. Рядом, положив обнажённую руку на инструмент, стояла нарядная полногрудая Рива. Заметив меня, она ласково мне кивнула. Минуту спустя к нам подбежала, неся что-то, девушка, одетая чёртом, в красном атласе, обтягивающем грудь и ягодицы. Склонившись, разлила по бокалам искрящийся напиток. Всё стихло вокруг, публика молча ждала, когда начнёт петь Рива Меклер.

«Мне кажется...» — начал я, но не успел договорить. Вожатая прервала меня.

«Ошибаешься, я уже говорила тебе, — сказала она. — Это не они. Их больше не существует, да и никого здесь не существует».

Она коротко объяснила, глухо звучал её голос. Обе, певунья и пианистка, давно умерли. Тётя Лиза, дожившая до глубокой старости, впала в маразм и больше не прикасалась к клавишам. Рива Меклер так и не вышла замуж, заболела, словно судьбе было недостаточно того, что она пережила на родине, была оперирована, ей ампутировали груди.

Я верил и не верил моей спутнице, но спросить, что будет со мною, не решался.

«Впрочем, — прибавила она, — ты кое-что забыл. Сегодня шестнадцатое января».

«Ах да, — пробормотал я. — Ну и что?»

«Твоё здоровье!» С бокалом в руке она ждала.

Я медлил.

«Пей, не бойся».

«Я умру», — сказал я.

«Возможно. Но я хочу сделать тебе подарок. Вино укрепляет мужскую силу...»

Я молчал.

«Что же ты? Дама выказывает тебе свою благосклонность, ты не отвечаешь. Так себя не ведут!»

Маска подняла руку, готовясь щёлкнуть пальцами, вновь сотворилась вчерашний лакей и проводил нас в отдельный кабинет. Должно быть, в лучшие времена комната служила спальней. Почти всё место занимала широкая деревянная кровать с резной спинкой, лампа матового стекла в виде цветка висела над изголовьем. Ночник под миниатюрным зелёным абажуром горел на туалетном столике, отражаясь в настенном овальном зеркале, и вся обстановка, двуспальное ложе, шкаф, столик, портрет на противоположной стене, тонула в зеленоватом сумраке. Польшались за дверью приветственные хлопки, после короткой паузы зазвучал рояль. Мёртвая тётя Лиза играла вальс из «Фауста».

Рывком моя госпожа сбросила маску. Я понял, что давно ждал этой минуты. Увидел её бледное лицо, бескровные губы, глаза, обведённые тёмными кругами, и крылатые брови. И, не выдержав, отвёл взор.

Меня окликнул — лучше сказать, одёрнул — её голос:

«Где ты?»

«Ты, — пролепетал я, — ты — Смерть?»

«О! Зачем же такие слова? Малыш, — проворковала она, — Я понимаю, Тебя одолевают любопытство и страх, не правда ли? Успокойся. Ты можешь удовлетворить свою любознательность. Взгляни, не бойся...»

Неслышно вошёл слуга, зажёл свет над изголовьем. и приготовил постель.

Плащ, развернувшись, упал к ногам моей любовницы. Она была невероятно худа — что называется, кожа да кости. Я отвёл глаза.

«Смотри, смотри на меня. Как ты меня находишь?»

Голос умолк, и её распротёртая нагота призывала к себе, и времена неслись, сменяя друг друга, настоящее стало будущим, и будущее превратилось в прошлое. Но я был прав, ибо сон, объявший нас, был подобен смерти. Сон одарил видением, которое вдохновило меня написать этот рассказ.

СОДЕРЖАНИЕ

Светлояр	5
Запах звёзд	29
Сталь и плоть	59
Возвращение	64
Праматерь	133
Корсар	155
Ночь Египта	183
Третье время	198
Ксения	242
Сера и огонь	275
Хроника о Картафиле	291
Ужин у графини Д.	301
Похож на человека	320
16 января 192*	330

Хазанов Борис
ПРАМАТЕРЬ
Избранные повести



Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

Корректор *Д. А. Потапова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездиновский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88½. Усл. печ. л. 20,53. Печать цифровая.

Заказ № 0357399-7. Отпечатано в типографии

ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,

Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

Новая книга Бориса Хазанова представляет собой собрание повестей, действие которых происходит в разных уголках мира. Некоторые из них задуманы в России, большинство написано в Германии и в поездках по Западной Европе и США.

Традиционное русское слово «повесть» как обозначение промежуточного прозаического жанра не вполне соответствует англосаксонскому термину long short story и не совпадает с французским представлением о малоформатном романе. Наконец, немецкое Erzählung обнимает все жанры повествовательной прозы. Так мы возвращаемся к русской повести.